

АНДРЕЙ СЕДЫХ
HOTEL
СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК

ТОГО ЖЕ АВТОРА

Старый Париж. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1926 г. С иллюстрациями Б. Гроссера.

Монмартр. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1927 г. С иллюстрациями Б. Гроссера.

Париж ночью. — Изд. «Москва», 1928 г. С предисловием А. И. Куприна. Обложка Ал. Яковлева.

Там, где была Россия. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1930 г.

Там, где была Россия. — Изд. Я. Поволоцкого, Париж, 1931 г.

Люди за бортом. — Изд. О. Зелюка, Париж, 1933 г.

Дорога через океан. — Изд. «Новый Журнал», Нью Иорк, 1942 г.

Звездочеты с Босфора. — Изд. «Нового Русского Слова», Нью Иорк, 1948 г. С предисловием И. А. Бунина. Обложка Р. Ван-Розена.

Обложка «Сумасшедшего Шарманщика» — художника Л. М. Михельсона.

ПАРИЖСКИЕ РАССКАЗЫ

СУМАСШЕДШИЙ ШАРМАНЩИК

Есть у меня старая граммофонная пластинка, напетая Вертинским. Не очень я любил его пение, слащавое и нездоровое манерничание, а вот рассказчик Вертинский был замечательный, — все в лицах, одно-два слова, мелкий штрих, — и человек — как живой. Но эту пластинку о Сумасшедшем Шарманщике я люблю до сих пор. Отличный в ней ритм: медлительно-шарманочный, заплетающийся, каждая нота словно препятствие преодолевает, и слова доходят:

Каждый день под окном
Он заводит шарманку.
Монотонно и сонно
Он поет об одном...
Плачет серое небо,
Мочит дождь обезьянку...

Должно быть, люблю я эту вещь потому, что знал Сумасшедшего Шарманщика и его старую обезьянку «с утомленным лицом». Обезьянку звали Бамбино, на ней была фетровая шляпа с павлиньим

пером и зеленые штаны. Это было очень давно, в Париже. Шарманщик приходил на улицу Гобеленов каждое воскресенье, рано по утру. Сквозь сон я слышал, как он начинал играть в самом конце улицы, под окнами углового «Отель дю Нор». Шарманка играла всего две вещи, — неизбежную «Санта Лючию», в которой, как водится, не хватало нескольких самых необходимых нот, а потом переходила на «Любовь, птичку неземную», которую, оказывается, нельзя приручить. В эту минуту, верно, Бизэ переворачивался в могиле от досады, так же, как я переворачивался в постели, пытаясь натянуть на голову одеяло, чтобы не слышать мешавшую спать шарманку... Но звуки неумолимо приближались. Сыграв свои две вещи, старик тащил шарманку дальше и скоро она гнусавила уже под самым моим окном.

Сон все равно был испорчен и я невольно начинал прислушиваться. Время от времени на мостовую с приглушенным звоном падали пятаки, завернутые в бумажку. Первый пятак бросала обычно усатая старуха, целыми днями, словно часовой, торчавшая в своем окне. Старуху пожирало любопытство, она заглядывала в квартиры соседей и была прекрасно осведомлена обо всем, что происходило на нашей темной, печальной улочке. За ней бросал свою лепту ресторанный гарсон, живший напротив. У него были жидкие, гладко прилизанные волосы, склерозно-сизое лицо и кроличьи глаза. Зиму и лето я видел его в одном и том же вязаном шерстяном жилете,

так что мне иногда казалось, что он даже ложась спать жилета не снимает, — с годами они как бы составили одно целое.

Обычно приходилось долго выжидать, пока раздастся звон монеты, брошенной мадам Жиру. Была она меценатка и натура артистическая, великая любительница цветов и птиц. В окне мадам Жиру висела клетка с полинялыми, анемичными чижами и стоял горшок с геранью. Кроме того, мадам Жиру рассыпала по карнизу крошки для голубей, а по вечерам кормила в подворотне кусочками печенки всех кошек квартала, — кошек было ужасно много. После того, как трудовые су мадам Жиру переходили в карманы шарманщика, нельзя было медлить: со скрежетом я вылезал из теплой постели, заворачивал два су в клочек газеты и запускал деньги вниз, норовя попасть в обезьянку, которая металась на своей тонкой цепочке.

После этого наступала блаженная тишина. Шарманщик знал, что все его обычные клиенты уже внесли свою дань. Больше нечего было ждать. Он прислонял шарманку к стене и, с Бамбино на плече, шел собирать монеты. Он был уже старый, ему было трудно нагибаться к земле и шарить между булыжниками своими заскорузлыми, несгибавшимися пальцами, но иногда ему помогали мальчики с улицы, которым льстило знакомство с Бамбино.

Собрав деньги, старик выпрямлялся, оглядывал наши окна и с достоинством бросал:

— Мерси, месьедам! Мерси бьен!

Через минуту, пройдя несколько домов, он делал новый привал и снова начинал вертеть ручку. Обезьянка печально слушала осточертевший ей мотив и время от времени, скуки ради, ловила в своей шерсти насекомых и лакомилась ими.

* *
*

Продолжалось это много месяцев подряд. Шарманщик приходил на улицу Гобеленов каждое воскресенье, в один и тот же час, в жару и в стужу. Он стал как бы обязательной принадлежностью нашей улицы, ее достопримечательностью. Были у нас и другие развлечения. Иногда появлялись подвыпившие, хриплые певцы. Ужасающими голосами они пели о бедной Нанетте и о любви, но почему-то успеха не имели и после нескольких неудачных визитов навсегда исчезали. Может быть, они считали наш квартал недостаточно музыкальным.

И вдруг шарманщик показался мне ужасно поэтичным, — я был тогда молод, без памяти влюблен в Регину, окна которой были расположены как раз напротив, только этажом выше, — и от внезапного и полнейшего избытка счастья начал бросать уличному музыканту уже не медяки, а франки. Уходя, старик делал мне особенно широкий, театральный жест.

Кончилось это знакомством в угловом бистро, где я пил по утрам водянистое кофе с горячими круассанами, и куда старик заходил после работы промочить горло стаканом вина. Его звали Пьетро, он был сицилианец. И тут только я понял особую прелесть его театральных жестов и то, что обезьянку свою он назвал нежным именем Бамбино.

Бамбино обожала заходить в кабачки не меньше своего хозяина. Ей полагался всякий раз кусок сахару, а иногда даже перепадал от хозяйки, торжественно восседавшей за кассой, кусок яблока или свежей моркови.

Пьетро быстро хмелел и начинал бесконечный монолог по-итальянски, обвиняя Бамбино в чревоугодии и жуликоватости, — обезьянка, действительно, любила перехватить лишний кусок сахару за спиной у хозяина.

— Манджаре, укорял он Бамбино, манджаре... Tu mangi comme un porco!

Подружиться мы не могли, несмотря на то, что я уже тогда любил артистов. Мешал недостаток слов: кроме своего «мерси-бьен, месьедам», шарманщик все остальное говорил не то по-итальянски, не то на своем сицилианском наречьи, и так по французски и не выучился, а ведь прожил Пьетро во Франции Бог знает сколько лет! Захмелев, он пускался в длинный разговор с Бамбино, то есть говорил он один, а обезьянка только прислушива-

лась и смотрела на него внимательными и понимающими глазами.

Покончив с круассанами, я уходил. Хозяйка, мелькавшая за кассой спицами, на прощанье желала мне приятной прогулки. Прогулки бывали приятные. Вместе с Региной мы отправлялись под платаны на авеню Обсерватории, или ехали на берег Сены, на цветочный рынок. Около Дворца Правосудия было нечто вроде Трубной Площади, — там продавали сизых, породистых голубей, белых кроликов с розовыми глазами, вислоухих щенят, зеленых попугаев. Мы быстро пьянели, — от весеннего, немного прянного воздуха, от нашей молодости и от розовых облаков, проплывавших над башнями Нотр Дам.

Возвращались мы домой поздно вечером, счастливые и утомленные. На прощанье целовались на углу, под газовым фонарем и потом шли по разным тротуарам, уже немного чужие. Я оглядывался на Регину в последний раз входя в отель, брал ключ, висевший на доске, и справлялся о здоровьи хозяина, мсье Буассьера.

Мсье Буассьер был толстый, плохо выбритый бретонец, вечно страдавший одышкой. Летом он выносил стул на улицу и сидел весь день на тротуаре, созерцая прохожих и перекидываясь с соседним торговцем углем ленивыми фразами, — больше насчет погоды: в нем явно погибал большой метеоролог. Зимой он сидел на стуле в передней,

около доски с ключами от номеров, курил ужасный табак и пил терпкое, красное вино. Ему было невыносимо скучно жить.

Закончив разговор с мсье Буассьером, я начинал восхождение по винтовой лестнице, скупо освещенной убогими лампочками. В целях экономии было устроено так, что электричество гасло на полпути. В темноте нужно было найти кнопку, нажать ее, и тогда лампочки снова загорались на минуту и приходилось ускорить шаг, чтобы добраться до своей комнаты при свете. Коврик кончался на первом этаже, около комнат, сдававшихся по часам случайным парочкам. За этими дверьми всегда раздавались странные шорохи, слышался придушенный шопот и лилась вода из кранов... Этажом выше жили люди солидные, семейные, платившие по-месячно и знавшие свои права. Мсье Буассьер их люто ненавидел за то, что они тайком заменяли слабые лампочки более сильными, пользовались током для глажки, готовили у себя в комнатах и вообще всячески старались обойти отельные правила, вывешенные на дверях.

На третий этаж солидные жильцы не заглядывали, — там жил я «с товарищи» — довольно беспутная компания студентов, шумливая коммуна, не признававшая основ старой латинской цивилизации, прав частной собственности и нарушавшая основы христианской морали. Двери наших комнат всегда были открыты. Воров мы не боялись, красть

у нас было нечего. В одной комнате играли на гитаре, в другой готовились к экзамену по политической экономии, в третьей любили. В коридоре вечно сновали какие-то девушки в дешевых халатиках нараспашку, при чем никто в точности не знал, в какой именно комнате девушки эти ночуют: в нашей жизни было много элементов случайности. Но о девушках я вспоминаю с нежной благодарностью. Это были настоящие подруги, они заботились о нас, варили на спиртовках некое подобие обеда, пришивали пуговицы, штопали носки и следили за тем, чтобы мы ходили на лекции. Может быть, они мечтали, что из нас выйдут инженеры, адвокаты и врачи, и что мы на них женимся. Побыв некоторое время с нами, они вдруг исчезали, так же бесшумно и незаметно, как и появлялись. Мы устраивали поминки, пили вино из плохо вымытых стаканчиков для бритья, ели колбасу, разложенную на бумажках и, закусив, уходили в монпарнасские кафэ. Регина знала об этих обитателях третьего этажа только по наслышке, — она никогда не бывала в нашем отеле.

* *
*

Впрочем, при чем же тут мой шарманщик? Решительно не при чем, он был лишь частью общего декорума, некоторым поэтическим началом в нашей жизни, персонажем из «Грошевой Оперы». Не знаю,

сколько времени могло все это продолжаться, но Пьетро в очередное воскресенье на улице Гобеленов не появился. Была глубокая осень, шли дожди.

Плачет серое небо,
Мочит дождь обезьянку...

Может быть, Пьетро захворал, или не решился выйти в дурную погоду, чтобы не простудить Бамбино? В следующее воскресенье я невольно проснулся пораньше и начал прислушиваться, но ни «Санта Лючия», ни бойкой арии Бизэ не было слышно... Мне стало не по себе. Поскорей оделся и примостился у окна. Пьетро не пришел. В угловом бистро хозяйка на мгновенье перестала мелькать спицами и сказала, что она тоже не видала шарманщика две недели. Все это было грустно и тревожно.

Пьетро исчез, исчез окончательно. Больше никогда в жизни я не видел моего шарманщика и Бамбино в зеленых штанах и в шляпе с пером. Я мог бы сочинить трогательную историю об обезьянке, больной туберкулезом, над которой рыдает старый итальянец. Но по моему, это уже кто-то написал, и это слишком плохо. Можно придумать другую версию: Пьетро умирает, и несчастная Бамбино дрожащей лапкой сует ему в рот свою морковку или заветный, припрятанный на черный день, кусок сахару... Нет, все это слащаво и не правдоподобно.

К сожалению, в таком виде рассказ не имеет никакого сюжета, в нем нет ни начала, ни конца. Самое обидное то, что история с итальянским шарманщиком в действительности могла закончиться весьма благополучно. Для этого достаточно было решить, что Пьетро попросту облюбовал себе другую, более доходную улицу.

Но мы до того к нему привыкли, что без шарманщика затрещали сразу все так хорошо налаженные отношения. Через несколько недель, прощаясь под фонарем, Регина сказала, что больше не может со мной встречаться, — она решила выйти замуж за положительного, серьезного человека. Я не был ни положительным, ни серьезным человеком и возражать было трудно. Она вскоре выехала в другой квартал, и я перестал смотреть в окно. Улица Гобеленов сразу мне надоела, стала узкой, убогой, и я вдруг заметил, что сюда никогда не проникает солнце, что фасады домов давно облупились и что люди, жившие в этой улице, все какие-то серые, с землистыми лицами... К весне коммуна третьего этажа разбежалась. Некоторых из моих товарищей я больше никогда в жизни не встретил. Других увидел только четверть века спустя. Они располнели, облысели и об улице Гобеленов вспоминали со снисходительной улыбкой, как о забавной ошибке молодости. Когда умер от апоплексического удара мсье Буассьер, стало совсем скучно, и я переехал в другое место.

* *
*

Много лет спустя мы сидели с Вертинским в русском кабарэ на Монмартре, где он выступал за гроши перед непонимавшей его французской публикой. Вертинский был бледный, утомленный, — в этот вечер он много пил и, видимо, томился. Кто-то попросил его спеть «Сумасшедшего Шарманщика».

— А ведь я знал вашего шарманщика, сказал я, и знал его обезьянку Бамбино. Здесь, в Париже.

Вертинский взглянул на меня побелевшими глазами и, слегка картавя, сказал:

— Это был мегзавец... Он утопил обезьянку в ведре и сам повесился.

Больше он ничего не хотел говорить, замолчал, и так я и не знаю, сказал ли он тогда правду, или придумал финал от тоски и мучившей его душевной пустоты.

ОБРАЗЦОВЫЙ КАМЕРДИНЕР

Той части парижской улицы Отель де Вилль, на которой мы жили в молодости, теперь не существует. Несколько лет назад ее разрушили, а на месте горбатых, средневековых домов разбили чахлый сквер, выходящий на берег Сены. Жаль, поэтическая была улица, с каким-то налетом таинственности. Или она только казалась мне такой? В юные годы я был склонен к несколько преувеличенной романтике. Теперь я думаю, что место это в действительности было страшное: вечная сырость, рассадник болезней, и жили на этой улице всякие неудачники и люди, обиженные судьбой.

В самом начале улочки стоял в те времена «Голландский Отель», неизвестно почему так названный. Никаких голландцев в нем не было, а жили больше мастеровые, усиленно налегавшие на красное вино, торговцы овощами с тележек, женщины неопределенной профессии и бедные студенты. Наша комната была во втором этаже, навсегда пропитанном запахом кислой капусты, жареного картофеля и карболки, которой несло из общего для всех жильцов отхожего места.

Комнату снял мой товарищ Миша. Он приехал в Париж из Константинополя, опередив меня на несколько недель, был года на три старше меня и считался чем-то вроде главы семьи. В туманный декабрьский день приехал и я. От вокзала автобус вез берегом Сены, река была желтая, грязная, раздулась, и почему-то от вида ее на душе становилось тоскливо. «Неужели это и есть Париж?», думал я, волоча свой чемодан вдоль улицы Отель де Вилль и разглядывая убогие фасады домов.

В конторе «Голландского Отеля» восседала дородная француженка с вязаной шерстяной накидкой на плечах. Мадам Леду была предупреждена Мишей о моем предстоящем появлении в ее трущобе и приветливо протянула руку, красную от вечных стирок. Так как в те годы я был вежливый мальчик и воспитывался в эмигрантской среде, руку ее я почтительно поцеловал.

Эффект получился необычайный.

Мадам Леду окаменела. Никто, никогда в жизни не целовал ей руки. На секунду она почувствовала себя Марией-Антуанеттой или, в худшем случае, дамой при дворе Короля-Солнца. Поняв, что перед ней — настоящий аристократ и отпрыск благородной семьи, ставшей жертвой революции, мадам Леду сделалась изысканно вежливой и даже несколько жеманной и сказала, что отель мне понравится, и я буду чувствовать себя здесь, как дома.

Покончив с церемониальной частью я потащил

свой чемодан по узкой винтовой лестнице со стертыми ступеньками. Комната оказалась маленькой, темной, с каменным полом. Окно выходило на дворик, вернее, на серую стену с какими-то пятнами. В центре комнаты царила двуспальная деревянная кровать эпохи Луи-Филиппа, — гордость мадам Леду. Был еще умывальник с эмалевой чашкой и треснувшим кувшином для воды и колченогий столик. Среди бела дня было так темно, что пришлось зажечь свет, но и от тусклой лампочки в потолке не стало светлее.

Мадам Леду сказала, что это — самая лучшая комната в ее отеле. Клопов нет, соседи — люди тихие, и она надеется, что мы не будем зря жечь электричество, — это стоит массу денег. Отопления в доме нет, — за шестьдесят франков в месяц она не может топить, но в комнате камин, внизу можно купить дрова, и молодым людям вообще никогда не бывает холодно.

— Я уверена, что вам не будет холодно, — сказала она с улыбкой умиления.

Нам было холодно. Комната оказалась ужасной. Мишка во сне храпел и судорожно дергал ногой, стягивая с меня одеяло. Сосед за стеной всю ночь возился с женщиной. Женщина любила бурно и громко, и весь наш этаж, затаив дыхание, прислушивался к ее переживаниям.

Так как развлечение это продолжалось из ночи в ночь, мы под конец не выдержали и пожаловались

мадам Леду. Она очень удивилась, — странные пошли молодые люди, — посоветовала нам завести своих собственных подруг и сказала:

— Вот это и есть ваше отопление!

* *
*

Деньги таяли с каждым днем. Питались мы хлебом, дешевыми селедками и маргарином. Была безработица, иностранцев никуда не брали, — все места были нужны для своих французов, только что вернувшихся домой после войны. Это было в общем справедливо, но очень неприятно. К концу декабря мы начали голодать. И в этот момент случилось чудо.

В русской газете Миша прочел объявление: бездетная зажиточная пара ищет в дом образцового камердинера. Людей без опыта просят не являться. Хорошие условия работы, отдельная комната, приличное жалованье. Так как было еще сказано, что необходимо знание французского языка, по объявлению пошел Миша. У меня с языком дело обстояло очень слабо.

Предварительно, будущий образцовый камердинер был подвергнут тщательному домашнему экзамену: скорчил почтительно-грустную рожу, какая бывает в фильмах у преданных английских слуг, изысканно вежливо поклонился и низким голосом сообщил, что обед подан.

После чего мы уселись за колченогий стол и принялись уплетать сервированный обед.

— Мишель, — говорил я томным голосом избалованной хозяйки, — Мишель, передайте мне паюсную икру... Мерси!

И Мишка с дьявольской, чисто профессиональной ловкостью, шлепал мне на тарелку кусок ржавой селедки.

За икрой последовала неслыханных размеров индейка, салат, сыры, какое-то необыкновенное бламанже, кофе и ликеры.

К концу обеда, когда весь хлеб и маргарин исчезли, я заявил, что Миша, собственно, рожден быть мэтр д'отелем в доме первого лорда Адмиралтейства и что экзамен он блестяще выдержал.

Я оказался пророком и ясновидящим. Часа через два мой друг явился домой за вещами и сообщил, что принят на службу: триста франков на всем готовом, отличная комната и один выходной день в неделю.

— Мы с тобой теперь отлично заживем, — пообещал он. — На первые же заработанные деньги я куплю тебе новые штаны, потому что в этих ты скоро перестанешь импонировать даже мадам Леду. Начинаются золотые дни Аранжуэца!

Что, собственно, означают золотые дни Аранжуэца я понял только в ближайшее воскресенье, когда он явился на рю де л'Отель де Вилль со своей первой получкой и кульком провизии. Кухарка, обладав-

шая широкой русской натурой, прислала мне на разговены половину отварной курицы, банку варенья и внушительный кусок пирога с капустой. Все это немедленно исчезло. В эти годы я был удивительно прожорлив.

Друг мой сообщил, что хозяева его на редкость симпатичные люди и что в общении с ними вовсе не нужно делать почтительно-грустную физиономию. Хозяина звали Михаил Осипович. В России он был крупным дельцом, владельцем нескольких фабрик, а в Париже жил в большой меблированной квартире, не распаковывая чемоданов: весной, после падения большевиков, они собирались вернуться в Москву.

За неделю Мишка отъелся, и в обращении его со мной появился даже несколько покровительственный тон, который затем он сохранил на всю жизнь.

* *
*

Прошло два или три месяца.

Однажды поздней ночью Михаил Осипович, вернувшийся из гостей домой, нашел вышколенного слугу в кресле, крепко спящим. К счастью для Мишки, он в эту ночь не храпел, — иначе вся история его жизни могла бы закончиться другим, менее блестящим образом.

— Утомился, бедняга, — сказал Михаил Осипович, и прошел на цыпочках к себе. На ходу он заглянул в раскрытую книгу, которая лежала перед Мишей. Это был учебник высшей математики. Образцовый камердинер с многолетним опытом скрыл от своих хозяев, что до революции он учился два года в Политехникуме.

Михаил Осипович ничего не сказал, внимательно посмотрел на учебник, потом на лицо спящего и, наконец, потрепал его по плечу. Когда камердинер проснулся, хозяин с ласковой укоризной ему сказал:

— Не нужно было нас ждать... Почему бы вам не пойти спать? А завтра утром, после чаю, мы поговорим.

Больше в эту ночь мой приятель не спал. Такая обида, — отличное место, много свободного времени, кухарка с широкой душой, и всего этого теперь придется лишиться из-за какой-то глупости, только из-за того, что усталый человек на минуту задремал! И опять — «Отель Голландии» и шатание по туманным улицам на голодный желудок, в поисках работы... На утро Миша сложил свои вещи, сказал кухарке, что его сегодня выгонят со службы и так разжалобил добрую женщину, что она на прощанье выдала ему двойную банку варенья и громадный кусок жареного мяса.

Собравшись с духом, он постучал в двери кабинета. Михаил Осипович сидел за столом, просматри-

вая утреннюю почту. Мишка предстал перед ним с лицом многострадального Иова.

— Вот что, Миша, — мягко и немного смущенно сказал Михаил Осипович. — Вы работаете в нашем доме месяца два, я все к вам присматриваюсь и решил с вами поговорить. Не скрою — слуга вы, так сказать, не очень хороший.

— Выгоняет, — решил Мишка.

С души его спал тяжелый камень. Теперь все было просто и ясно, оставалось лишь выполнить необходимые формальности. Но Михаил Осипович выглядел не очень сурово и что-то продолжал говорить. Он, конечно, понимает, что Миша не профессиональный слуга и не умеет чистить серебро или вытирать пыль. Но что-то он, вероятно, умеет делать и к чему-то в жизни стремится.

— Вот вчера вечером я случайно увидел, что вы читали книгу по математике. Вы учитесь? Студент?

Терять теперь было нечего. Раз легенды старого, вышколеного английского камердинера больше не существовало, Миша мог сказать всю правду. И он сказал, что был в России студентом, мечтал получить диплом инженера, но началась гражданская война, эмиграция, и все пошло прахом. Очень жаль, что он никак не подходит для такой должности. Но это его первое место и, может быть, он со временем научится чистить серебро и вытирать пыль.

Михаил Осипович улыбнулся и сказал, что стать хорошим камердинером так же трудно, как

получить диплом инженера. Может быть, ему лучше продолжать научную карьеру?

— Видите ли, — сказал он, — у нас был когда то сын. Единственный сын. Сейчас он мог быть приблизительно ваших лет... Но он погиб во время войны, его убили. И мы всегда с женой хотели сделать что-нибудь хорошее в его память. Теперь случай представился. Мы предлагаем вам стипендию в память нашего сына. Уезжайте из Парижа в провинцию, скажем, в Бордо или Монпелье. Там отличные университеты. Вы будете учиться, а об остальном мы позаботимся. Будем платить за правоучение и высылать вам деньги на жизнь. Каникулы сможете проводить с нами, или где хотите, по собственному усмотрению. И, конечно, вам нужно как следует одеться: зайдите к моему портному, он снимет с вас мерку. Может быть, ваша мечта осуществится и через несколько лет вы станете инженером.

На этом разговор кончился. Михаил Осипович был очень взволнован воспоминаниями о сыне. А Мишка потерял дар речи. Несколько раз он глотнул воздух, пытаясь сказать слова благодарности, но помешал какой-то предательский комок, стоявший в его горле.

* *
*

Все это смахивает на скверный святочный рассказ. Но все это случилось в действительности и на

этой истории я лично сильно пострадал. После отъезда Миши в Монпелье я перестал получать от него банки с вареньем и другие деликатессы. Это было очень обидно, и, кажется, именно в это время я впервые понял, что благополучие человека часто построено на несчастьи ближнего.

Впрочем, очень скоро и я расстался с «Голландским Отелем» и жизнерадостной мадам Леду. Зима была слишком холодная, а предложенный ею способ самообогревания меня в ту пору не очень привлекал. Я поселился на улице Гобеленов, в отеле мсье Буассьера, где было настоящее отопление. С этого момента началось мое восхождение по социальной лестнице: я скоро устроился во французском банке на амплуа мальчика на побегушках.

Миша учился в университете четыре года, получил диплом инженера и поступил на службу в большое коммерческое предприятие.

Теперь он не очень любит вспоминать о нашем темном прошлом. Из Мишки он превратился в Михаила Сергеевича, преуспевает в делах, имеет барскую квартиру и, кажется, начинает мечтать о камердинере.

А Михаил Осипович с женой попрежнему живут в Париже. Они очень состарились, прожили свое состояние и окончательно разорились. Каждый месяц они получают от своего бывшего стипендиата приличный чек, — Миша аккуратно выплачивает им свой неоплатный долг. На эти деньги они теперь и доживают свой век.

ЯБЛОКИ

Незнакомый американец позвонил по телефону:

— Мистер Седых, я только что приехал из Франции и привез вам подарок.

Это было очень приятное вступление. Но природный скептицизм быстро взял верх и я подумал, что, конечно, это только вступление, — никакого подарка нет, и сейчас собеседник предложит застраховать мою жизнь или купить у него новый радиоаппарат, или что-либо в этом роде. На всякий случай, я осторожно осведомился:

— Ведь мы раньше никогда не встречались?

— Никогда.

— И вы привезли мне подарок?

— Привез... Подарок не совсем обычный: два яблока из вашего сада во Франции.

Позже все разъяснилось. Американец в Париже встретил наших друзей и соседей по даче — Мурзю и Зорю. И они уговорили его взять с собой в Нью Иорк два яблока, сорванных в моем саду.

На следующий день я съездил к американцу получить этот чудесный подарок. И вот два больших, корявых и сморщенных яблока лежат на моем столе. Время от времени я взвешиваю их в руке, нюхаю,

глажу, — они очень большие, кривобокие и, как полагается французским яблокам, с червоточинкой. В американских яблоках червячка не найдешь, — они красивы, все на одно лицо, одинакового размера, безупречно-щеголеватые, — стандартные, почти машинное производство. Американское дерево не позволяет себе никаких фантазий, — родит по установленному образцу то, что ему предписано, дает урожай по заранее заготовленному плану, — это уже не садоводство, а сплошная химия, и откуда здесь появиться червяку или кривобокому яблоку?

Я никогда не пробовал яблок из собственного сада. Лет пятнадцать назад, на берегу реки Уазы был куплен домик, за серый свой цвет названный «Мышкой». Вокруг домика был пустырь, заросший травой, — здесь я расчитывал разбить сад и огород. Купчую мы подписывали торжественно, у нотариуса, и свидетелями были два французских усатых фермера, старики в черных костюмах, черных шляпах, с зонтиками, которые они крепко держали в руках. Когда все формальности были выполнены, новый помещик пригласил свидетелей в кафэ распить бутылку вина. Фермеры пили серьезно, сосредоточенно, отпив вино слегка задерживали его, прополаскивая рот как дегустаторы, и потом солидно вытирали рукой усы.

На следующий день оказалось, что продавец меня надул. Под тончайшим верхним слоем земли оказался сплошной железнодорожный шлак. Неде-

лями шлак этот вывозили на грузовиках, и те же грузовики привозили свежий чернозем. Когда в ворота сада въехал сотый грузовик, я начал подумывать о том, что пора объявить банкротство и отказаться от карьеры землевладельца в департаменте Сены и Уазы.

Рабочие, вывозившие шлак и насыпавшие свежую землю, брались за лопаты, поплевывали на руки, пили белое вино и уверяли, что сад будет на подобие версальского, — только без фонтанов. Из версальского сада ничего не вышло, он остался только на бумаге. Знакомый садовод-пейзажист действительно нарисовал роскошную картинку, которая до сих пор у меня хранится среди других реликвий прошлого.

Осенью на «Мышку» пришел садовник Монгадон, выпил вина и сказал, что пора садить фруктовые деревья, — не то начнутся дожди, потом утренние заморозки и нужный момент будет пропущен. На деревья решено было денег не жалеть, — брать пятилетние, самые лучшие и самые дорогие сорта, и Монгадон резонно объяснил:

— Вы эти фрукты всю жизнь будете есть. Когда нибудь получите большое удовольствие.

Должно быть, каким то внутренним взором провидца он уже видел мои два нью-иоркские яблока.

Мы выбрали пятнадцать деревьев с таким расчетом, чтобы уж, действительно, обеспечить себя

фруктами на всю жизнь. Были тут яблони, груши, слива, персиковое дерево, черешни. В конечном счете, сад должен был превратиться в ботанический ноев ковчег. В последнюю минуту откуда то появились десятки кустов малины и крыжовника, которые за недостатком места пришлось затем изгнать на огород.

Монгадон целыми днями был навеселе, так как за каждую вырытую для дерева яму ему полагалась свежая бутылка. Рыл он один, но деревья мы садили вместе, — т. е. я деликатно держал деревцо за ствол, пока он орудовал лопатой и при этом мрачно бормотал:

— Разве это навоз? До войны был настоящий навоз, а теперь и люди, и лошади, уже не те...

С появлением навозных куч жена не выходила больше в сад, уверяя, что я превратил его в какое то свалочное место. Я всегда считал, что ее увлечение французскими духами к добру не приведет.

В ноябре деревья были посажены, подпорки поставлены, дорожки проложены. Я гулял по этим дорожкам, выдергивал сорную траву и хозяйским глазом поглядывал на мои тощие деревца. Основания стволов мы окружили проволочной сеткой, чтобы защищать их от кроликов, великих любителей молодой древесной коры. Пока что, сад выглядел совсем не так, как на многокрасочном рисунке моего пейзажиста. Воткнутые в землю дреколья — подпорки были толще, чем деревья. Но воображение

работало обратно пропорционально действительности и рисовало будущий таинственный сад, ковер под раскидистой яблоней, и лежащего на ковре в жаркие послеполуденные часы землевладельца и помещика из департамента Сены и Уазы.

Не знаю, что испытывали в таких случаях другие, но мне тогда казалось, что моими пятнадцатью деревцами я украсил чуть ли не всю Вселенную, и что вообще жизнь прожита не даром: меня уже не будет, а тополь в глубине сада и плакучая ива попрежнему будут зацветать ранней весной. Это, конечно, лирика, поэзия, но садоводы меня поймут.

Когда начались дожди и туманы, мы малодушно сбежали в город, бросив сад на произвол судьбы. Жизнь в нем не прекращалась, — птицы выклевывали мои осенние насаждения, кролики забирались по ночам на огород, в поисках забытой головки капусты, кроты нагло перекапывали дорожки, не считаясь с планами и чертежами садовода-пейзажиста. Все это мы обнаружили много позже, весной, когда снова начали наведываться на «Мышку». Приезжали мы не часто, — была весна сорокового года, шла «гнилая война» и теперь уже было не до сельских радостей. А жаль, сад менялся с удивительной быстротой, зацветала густая, персидская сирень, в зарослях на соседнем пустыре запели по ночам соловьи, и все это как то не вязалось с воинскими эшелонами, проходившими мимо нашего дома на Север, в сторону еще далекого фронта.

Все же, в последний мой приезд на «Мышку» я увидел, как зацвели яблони и вишни. Долго я сидел на весеннем, уже горячем припеке, любуясь моим зеленеющим клочком земли. Вокруг была великая тишина и покой. Потом откуда то издали, со стороны железнодорожного полотна, донесся гул самолетов и показались две черные металлические птицы с крестами на крыльях. Что то поблизости грохнуло, стекла в доме зазвенели, потом раздался другой удар, третий, и я счел благоразумным скатиться кубарем в подвал. Немцы сбросили бомбы на линию Париж-Бомон и улетели. Мне в моем великом озлоблении казалось, что целились они только в «Мышку» и лишь чудом ее не уничтожили.

Через час я запер дом и вышел на дорогу. С севера, в сторону Парижа, уже тянулись бесконечные обозы с беженцами. Тяжело и осторожно ступали бельгийские битюги, запряженные в колымаги. Рядом, в голову с лошадьми, шли молчаливые крестьяне. На возах, на беженском скарбе, сидели женщины, с высохшими каменными лицами и плакавшие дети.

Я в последний раз взглянул на мой серый домик, на яблони, усыпанные белым цветом, и пошел своей дорогой.

Это было много лет назад.

Потом мне писали в Нью Иорк, что «Мышку» разграбили. Во время войны в ней жили два немецких офицера. Уезжая, они вывезли все, и с немец-

кой аккуратностью вывинтили даже медные краны. Оставили они в подвале только груду черных деревянных крестов, которые предназначались для могил немецких солдат, убитых в бою при переправе через Уазу.

И еще мне писали, что крыша на «Мышке», пробитая шрапнелью, дала течь, а сад зарос кустарником и травами в человеческий рост и превратился в джунгли. Но деревья окрепли, буйно разрослись за эти годы и стали давать урожай, — этим летом были чудесные черешни и персики. И я радовался. Иногда думал о Монгадоне, вспоминая, что у меня всю жизнь будут фрукты из собственного сада.

В общем, жалеть не приходится. В особенности после того, как я получил мои два яблока.

Они лежали несколько дней на почетном месте. Потом, когда яблоки начали перезревать, я почувствовал себя в роли Авраама перед закланием Исаака.

Но что же можно было предпринять для их спасения?

Яблоки были сфотографированы, — так сказать в качестве вещественного доказательства.

А затем мы их съели.

Очень прошу не смеяться и помнить, что мы, садоводы, народ сентиментальный и до крайности самолюбивый: эти кривобокие, неказистые яблоки с червоточиной показались мне самыми вкусными, самыми нежными и ароматными яблоками в мире.

АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ

РОЯЛЬ

Рояль стоял посреди магазина, как на концертной эстраде, в великолепном и торжественном одиночестве. В магазине были и другие инструменты, но они скромно ютились по углам, явно сознавая свое ничтожество. Это были плохенькие пианино, на которых упражнялись поколения юных талантов. Приводя их в порядок, настройщики, по натуре склонные к пессимизму, только тяжко вздыхали. Юные таланты подрастали, бросали музыку, им больше не была нужна ни «Лунная Соната», ни шопеновские мазурки, и инструмент снова попадал в музыкальный магазин. Его чинили, заменяли молоточки и струны, настраивали, полировали, и снова, — на очень короткое время, — пианино выглядело прилично и могло соблазнить кандидатов в музыкальные гении, располагавших пока очень ограниченными средствами.

Но рояль, стоявший посреди магазина, был совсем иной, аристократической породы. Можно было бы написать целую книгу о том, как его создавали, как в течение нескольких лет сушили драгоценное дерево, как лучшие и искуснейшие мастера Стайнвея

трудились над полировкой, каким испытаниям подвергались струны и клавиши, прежде чем было признано, что инструмент этот может просуществовать долгие годы.

И каждый день один артист-бедняк останавливался у витрины и смотрел на рояль. Он был пианист, только недавно приехал в Америку — без денег, без определенных планов, с тайной надеждой на то, что произойдет чудо. Америка сейчас единственная страна в мире, где иногда еще случаются чудеса.

Но чуда не произошло. Началась беготня по дешевым урокам, беспорядочная и утомительная нью иоркская жизнь. Удалось достать квартирку,—то что называется в Нью Иорке полторы комнаты, и взять напрокат пианино, неуклюжий, черный ящик, чем то напоминавший гроб, в котором особенно плохо звучали басы. Вид этого пианино нагонял на артиста тоску, и знакомые, поглядев на инструмент, почему то начинали рассказывать, как до войны в Нью Иорке люди бросали ненужное им пианино при переезде на новую квартиру, или оставляли его прямо на тротуаре на произвол судьбы. А теперь на этом пианино нужно было работать, просиживать за ним по несколько часов в день, и эти часы всегда были мучением. Ничего путного из работы на таком инструменте не получалось. Было больно и стыдно.

Иногда по вечерам он отправлялся в концерт и слушал пианистов, имена которых уже были окруже-

ны легендой. У них было все: слава, успех, контракты, импрессарио. Они не бегали по грошевым урокам, месяцами готовили программу, могли работать спокойно, а все остальное зависело от степени талантливости артиста и от случайного пищеварения в вечер концерта музыкального критика «Таймза». Так, по крайней мере, думал пианист, возвращаясь ночью в свои полторы комнаты. На Бродвее дул в лицо холодный ветер, засыпал глаза сухой пылью. Он дул, как всегда бывает в Нью Иорке, сразу со всех сторон, и пианист вспоминал стихи Блока.

Ветер, ветер
На всем Божьем свете.

Я забыл сказать, что пианист этот был — русский.

* *
*

Часы на Коломбус Серкл показывали без двадцати десять. До начала урока оставалось еще много времени. Он пересек площадь, посреди которой, на колонне, одиноко замерзал Колумб, вышел на 57 улицу и увидел знакомый музыкальный магазин. Здесь можно было сделать остановку.

Рояль стоял посреди холла. Пианист закрыл глаза и вдруг отчетливо представил себе концертный зал, и этот рояль на эстраде, и то, как должна зву-

чать на нем та самая фуга Баха, которой он откроет свой первыйреситаль в Карнеги Холл. И, как сомнамбула, не зная, что с ним происходит, он толкнул дверь и вошел в магазин.

Внутри было тихо и пустынно. В этот ранний час в магазине не было еще ни покупателей, ни продавцов. Он сделал несколько неуверенных шагов и остановился перед раскрытым роялем, сверкавшим так, как будто к нему никогда не прикасалась человеческая рука. И вот рука легла на клавиши. Раздался первый звук, потом другой, и, уже не будучи в силах остановиться, он заиграл свою фугу, а потом перешел на сонату Бетховена. В сонате было одно место, которое ему никогда еще не удавалось, и вдруг это место зазвучало, и ему показалось, что стоявший в углу бронзовый бюст уродливого творца сонаты вдруг начал прислушиваться и сказал:

— Это очень хорошо... Вы отлично играете.

Сказал это не Бетховен, а старичок в черном костюме, с грустным лицом, вышедший из соседней комнаты.

Музыка оборвалась. Пианист встал и смущенно забормотал, — он хотел попробовать, ему так нужен хороший инструмент...

— Это очень хороший инструмент, — сказал старичок с грустным лицом. — Прекрасный звук, певучий... И я буду рад, если он попадет в руки настоящего артиста. Знаете, я убежден, что каждый инструмент имеет свою душу, и этот же рояль под

руками плохого музыканта будет звучать совсем иначе. Вот почему я всегда стараюсь отдавать мои инструменты людям, этого заслуживающим. Я — плохой торговец, но...

Старик замолчал и внимательно посмотрел на пианиста.

— Конечно, у вас нет денег?

Это было очень обидно. Не следовало заходить в магазин. Но, в конце концов, ничего ужасного не произошло, рояль всегда пробуют, и он мог себе это позволить... Пианист ответил:

— У меня есть деньги. Очень немного.

— Это хорошо, — оживился продавец. — Инструмент стоит всего две тысячи долларов. Обычно мы получаем третью часть наличными, а остальную сумму вы можете выплатить в один или два года, по вашему усмотрению. Сколько бы вы могли сразу внести?

Пианист вынул бумажник, заглянул в него и сказал:

— Двадцать долларов. Да, у меня есть двадцать долларов.

Старичок удовлетворенно кивнул головой. Он, видимо, ничего другого и не ожидал и был бы даже разочарован, если бы молодой человек в дешевом пальто сразу вынул деньги и заплатил за инструмент. За долголетнюю свою жизнь он научился почти безошибочно распознавать клиентов и убедился, что легче всего рояль купить тем, кто не собираются на

нем играть. Правило подтвердилось и на этот раз с математической точностью. Он был очень доволен своей теорией.

— Если бы на вашем месте сидел господин в дорогом пестром галстухе, раскрашенном от руки, или дама в норковом манто с орхидеями, — сказал он, — я вряд ли уступил бы им хоть один доллар. Но в вас я чувствую музыканта, и вам нужен рояль. Я слышал, как вы играете и хочу, чтобы вы имели этот инструмент. Погодите минуту...

Старик вышел, потом вернулся с какой-то книгой в коленкоровом переплете, заглянул в нее, покачал головой и погрузился в сложные расчеты. Было очень тихо. «Если сейчас растворится дверь, подумал пианист, и войдет какой нибудь покупатель, я никогда не получу рояля».

Но дверь не растворилась и никто не вошел. Старик оторвался от своих расчетов:

— Этот рояль стоит две тысячи долларов. Но я ничего не собираюсь на вас заработать. Лучше заработать на даме с орхидеями, для которой рояль является просто мебелью в гостиной. Я подсчитал: он стоит мне тысячу триста шестьдесят долларов... Вы должны внести наличными только триста шестьдесят долларов. Оставшуюся тысячу вы будете выплачивать постепенно, когда сможете. Если вам рояль действительно нравится — он ваш.

Пианист сказал, что владелец магазина, вероятно, плохо понял. У него нет пока счета в банке и нет

чековой книжки. Все его состояние это — двадцать долларов. Он совсем недавно приехал из Европы, дает пятидолларовые уроки и как раз сейчас ему нужно торопиться к ученику. Но он постарается достать.

— Значит, вы внесете в виде задатка двадцать долларов, а остальные деньги, скажем, через три дня... Согласны?

Пианист вынул из бумажника последние двадцать долларов, положил их на стол и вышел, забыв попрощаться. Он очень боялся опоздать на урок.

— А расписка? — крикнул вдогонку продавец.

Но он уже шел по улице, задыхаясь, — не то от быстрого шага, не то от чего то большего, что ужасно теснило его грудь.

* *
*

И все же, на урок он опоздал.

Миссис Джонсон встретила преподавателя приветливо, но сказала, что урок нужно кончить во время: Джордж в двенадцать часов уезжает с ней за город. В следующий раз можно будет наверстать потерянное время. Это было очень неприятно, и пианист пробормотал, что покупал Стайнвей, он даже почти купил его.

Миссис Джонсон обрадовалась. Она была очень восторженной женщиной и напускной холодок сра-

зу исчез: Бог с ними, с этими пятнадцатью потерянными минутами. Но рояль! Она знала, что этот чудаковатый русский пианист, так плохо говорящий по-английски, не мог купить себе даже приличной шляпы. Втайне она считала, что все русские, да еще музыканты, немного сумасшедшие, хотя и очень милые люди... Так, все-таки, что за инструмент он купил?

Пришлось рассказать. Теперь для урока оставалось всего сорок минут. Следовало начать.

— Погодите, — сказал миссис Джонсон. — Откуда же вы рассчитываете достать эти триста сорок долларов за три дня? Кто нибудь может дать взаймы?

Пианист удивленно взглянул на нее:

— Взаймы? Я нигде не достану и не собираюсь искать... Но, видите ли, эти три дня я буду чувствовать себя собственником Стайнвея.

Джордж сел за рояль.

— Ну, давайте. Вот с этого места: играйте ровно и ритмично.

Урок начался.

* *
*

Следующий урок назначили на четверг, через три дня. Пианист распрощался, получил пять долларов и вышел на улицу. Он чувствовал себя очень

счастливым и богатым: собственный Стайнвей и еще пять долларов в кармане! Правда, эти деньги следовало растянуть, но в ближайшие дни было еще несколько уроков и жизнь, в общем, замечательная вещь. Кто это сказал, что в жизни нужно шагать с улыбкой?

В этот день пианист шагал с улыбкой. Дважды он даже поймал себя на том, что поправлял галстух, — признак самовлюбленности, — съел в угловой кафетерии дорогое пирожное с клубникой и сливками, а по возвращении домой весьма презрительно взглянул на черную «бандуру», стоявшую в углу, и с оттенком пренебрежительной наглости сказал что то об инструментах, которые нужно оставлять на тротуаре, на произвол судьбы.

На следующий день он дал два урока и ходил бодро, но уже без улыбки.

На третий день пианист стал мрачен. Жизнь не удалась и напрасно он приехал в Америку. Слишком здесь много знаменитостей, слишком трудно сделать карьеру без менаджера, а менаджера нельзя получить без денег. «В Карнеги Холл будут выступать другие, думал он, и на Стайнвеях будут играть другие, более талантливые и счастливые музыканты, а он обойдется с «бандурой», — по Сеньке и шапка... И, как на зло, тут еще этот урок с Джорджем. Мальчик хороший, но мамаша, в общем, слишком любопытная и назойливая женщина. Конечно, ходит на дамские завтраки и рассказывает приятельницам о

музыканте, который хотел купить Стайнвей за двадцать долларов. И не нужно сегодня идти по 57 улице и зря себя волновать. Или, посмотреть в последний раз?... Нет, Стайнвей стоит на своем месте. Значит, не продали. Да они и не имели права, раз взяли задаток. Вот он, старикан, внутри разгуливает. Симпатичный человек, душевный. Должно быть, огорчится, что я не куплю его рояль, а потом продаст этому самому господину с цветным галстухом... Собственно, приличие требует зайти и сказать, что я отказываюсь. Все-таки, он был любезен. Может быть, у него есть другие покупатели, и он ждет моего ответа...»

И пианист вошел, еще более смущенный, чем в первый раз. Старик обрадовался и сказал, что сегодня — прекрасный день, и что он рад видет у себя артиста, — он даже не ожидал подобной аккуратности. Рояль может быть доставлен завтра утром, часам к девяти, — ему нужен только адрес. И он пришлет лучшего настройщика.

Затем наступила пауза. Пианист каким то деревянным голосом сказал:

— Я принес вам еще десять долларов.

— Десять долларов? — переспросил старичок. — Так, так... Значит, еще на три дня?

— У меня нет денег, но я достану. Не знаю еще как, но достану. Я уверен в этом.

— Я тоже уверен, — сказал торговец. Когда человек чего то очень хочет, он добивается своего.

Конечно, миссис Джонсон, сгорающая от любопытства и всегда вмешивающаяся в чужие дела, первым делом задала ему вопрос о рояле. Достал он деньги?

— Нет... То есть, часть суммы.

— Сколько же вы внесли?

— Еще десять долларов.

Миссис Джонсон рассмеялась. Пианист подумал, что обижаться нечего, — откуда такой американке обладать тактом? В конце концов — наплевать, отыграл свое, поучил ее бездарного отпрыска, и — до свиданья!

До свиданья. До понедельника. Все это получается довольно глупо, и она права, когда смеется. Выбросил двадцать долларов, потом десять... Ребячество. Вместо того, чтобы купить себе новые башмаки или уплатить за квартиру. Нашелся еще один Горовиц!...

Много других, горьких и колючих слов, говорил он дома, лежа на продавленном диване, приобретенном по случаю в Армии Спасения.

— К этому дивану, к этой кривой этажерке, не хватает только концертного Стайнвея... Моцарта похоронили в братской могиле бедняков, Бетховен всю жизнь нуждался, Шопен не имел ничего, кроме долгов, а я не могу жить без Стайнвея!

В комнате было душно, какая то пружина давила бок, и тяжелая, неуходящая тоска долго не отпускала и не давала заснуть.

Проснулся он рано утром. В дверь стучали. От мучительной ночи болела голова и он не сразу сообразил, что происходит. На пороге стояли трое, — рослые рабочие в тельниках, с какими то канатами в руках, и один из них, должно быть, старший, спросил:

— Куда ставить рояль? В угол, что ли?

— Какой рояль?

Перевозчик подозрительно посмотрел на пианиста, переспросил его имя и сказал, что они не могут терять время и должны втащить в квартиру инструмент, который он вчера купил.

— Я не купил инструмента.

Перевозчики переглянулись.

— Нужно позвонить в магазин, — сказал один. Может быть, мы ошиблись адресом.

Они позвонили. Адрес оказался правильным.

— Возьмите трубку, хозяин хочет с вами говорить.

Говорил старичок. Голос его звучал, как обычно, очень грустно. Он сказал, что очень рад и поздравляет, — миссис Джонсон заплатила все, и подписала все бумаги. Миссис Джонсон уверена, что преподаватель ее сына сделает большую карьеру.

Он добавил при этом, что Америка — страна больших возможностей для каждого человека, и что нужно только не упустить шанс, но пианист его не расслышал: рабочие уже поднимали рояль по лестнице.

ПТИЦА ГАМАЮН

Слыхали вы о птице Гамаюн? На вопрос этот, обычно, отвечают нечто невнятное: — кажется, была такая сказочная и вещая птица, приносившая людям счастье и богатство. А я знаю русского скульптора, живущего в Нью Иорке, которому птица эта, вместо славы и богатства, принесла крупную житейскую неприятность.

Скульптора зовут Лопатин. В рассказе, кроме этой фамилии, ничего вымышленного нет, — да и стоит ли выдумывать, когда жизнь так богата настоящими приключениями? Лопатин задумал сделать скульптуру на аллегорический или сказочный сюжет. Любят русские художники такие сюжеты, — у них вечно в небесах парят степные орлы, или сокола, «молнии подобные», а еще чаще — Жар-Птицы. Лопатин выбрал Гамаюна и, перед тем, как приступить к лепке, сделал несколько набросков карандашом. И тут выяснилось, что ничего толком не получается. Главное, — как жизнь передать, устремленное движение, чтобы получилась действительно птица счастья, а не набитое музейное чучело? Поработал несколько часов, испортил множество ли-

стов бумаги и бросил. Модель нужна. А где ее возьмешь, — модель сказочной птицы, да еще в Нью Иорке, в самом центре Мэнхэттэна?

Модель, однако, отыскалась в тот же день, в угловом магазине. Это была курица, обыкновенная курица, уже общипанная, вычищенная и готовая отправиться на сковородку. Поговорку о том, что курица — не птица, Лопатин всегда считал вздорной, по крайней мере, с точки зрения анатомической. Да и кто знает, как именно выглядела птица Гамаюн? Одним словом, курицу эту скульптор приобрел и с торжеством приволок в свою мастерскую.

Здесь нужно было придать ей вид летящей птицы. На стене в мастерской висела большая черная доска и к этой доске Лопатин прикрепил гвоздями Гамаюна — широко раскинул ему крылья, забросил назад голову, и получилось очень неплохо, — а главное — движение, и видны все мускулы.

* *
*

Сидит Лопатин посреди мастерской с картоном на коленях, делает наброски, работа спорится. Вдруг, стук в дверь, — такая досада, отрывают...

— Кто там?

Вошел незнакомый молодой человек с деревянным ящиком, назвал свое имя и скороговоркой сказал, что представляет знаменитую фирму «Пер-

фект Моторс», и что он пришел не продавать, а только хочет продемонстрировать преимущества своего пылесоса перед пылесосами всего мира. И, прежде чем Лопатин успел понять, что именно происходит, молодой человек уже вытащил из ящика свой пылесос, вставил штепсель и начал демонстрировать: пылесос гудел, молодой человек небрежно и ласково катал его по ковру, что-то непрерывно говорил и восторженно улыбался, — очевидно, ему самому очень нравилась эта дьявольская штука. Скульптора это нежданное вторжение привело в бешенство: сидел человек сосредоточившись, занимался творческой работой, требующей определенного настроения, и вдруг это нахальное, шумливое существо, пытающееся всучить совершенно ненужный пылесос.

Стараясь покрыть шум мотора, Лопатин крикнул:

— Мне не нужно! Не нужно, поняли? Выключите мотор!

Молодой человек с понимающим видом улыбнулся и сказал, что джентльмэн даже не знает, как переменится вся его жизнь после того, как он закажет пылесос со всеми его дополнительными принадлежностями, — щетками для мебели, специальными приспособлениями для выкачивания мусора из щелей в паркете, аппаратом для полировки пола и бесплатной премией в виде электрического кофейника, гарантированного на два года, — все это за басно-

словно дешевую цену, с длительной рассрочкой и без немедленного взноса. Далее молодой человек подошел к заключительной части своей речи, — в голосе его звучали теперь лирические нотки и пафос финала:

— Метла наших бабушек отжила свой век вместе с керосиновой лампой и чугунной печью. Мы живем в век прогресса. Пылесос «Перфект Моторс» — лучший пылесос в мире, сэр! — является тем символом, по которому можно отличить каждого успевающего в жизни человека от неудачника.

Лопатин в точности не запомнил, что еще говорил продавец, — речь его лилась удивительно гладко и плавно и, главное, он не давал себя остановить. А проклятый пылесос продолжал наполнять комнату назойливым гудением, от которого постепенно распухала голова и темнело в глазах.

— Я не принадлежу к категории успевающих людей, — сказал Лопатин, уже с трудом сдерживая бешенство. — Мне не нужен пылесос. Уходите. Уходите сию минуту. Вы мешаете мне работать. Видите, — я работал...

И он указал жестом оскорбленного трагика на птицу Гамаюн, распятую на стене.

Продавец взглянул на модель и вдруг что-то изменилось во всем его поведении. Он внимательно оглядел взволнованного и всклокоченного Лопатина, потом перевел глаза на курицу, и на лице его появилось странное, немного угодливое и испуган-

ное выражение. И он вдруг заторопился, — пылесос умолк и исчез в ящике, улетучились все великолепные принадлежности к нему, продавец что-то растерянно бормотал и пятился к дверям, все еще не будучи в силах оторвать глаза от Гамаюна.

— Я не знал, бормотал он. Успокойтесь, ради Бога! Я ухожу!

Он осторожно закрыл за собой дверь и скатился по лестнице, словно за ним гнался по пятам разъяренный тигр. Внизу представитель пылесосной фирмы встретил женщину, убирающую дом и разносящую по утрам почту.

— Послушайте, — сказал он, задыхаясь от волнения, — у вас там, в мастерской, живет сумасшедший. Вы знаете, что он сделал? Прибил гвоздями к стене курицу и уверяет, что работает. Он мог меня убить и тоже прибить гвоздями к стене. Такие жильцы являются общественной опасностью!

Женщина побледнела. Больше всего на свете боялась она сумасшедших. В самом деле, — жилец какой-то странный, не такой, как все, — говорит непонятно, и какой взгляд!

— Это так нельзя оставить, — сказал представитель фирмы «Перфект Моторс». — У вас дети. Такие выходят на улицу и стреляют. Нужно немедленно предупредить полицию.

— Вот телефон, — засуетилась уборщица. — Вот здесь, звоните!

Полицейскому, который поднял трубку, он ска-

зал, что в доме опасный сумасшедший, и что нужно что-то предпринять.

— Сумасшедший? — переспросил полицейский. — Сейчас приедем. Дайте адрес.

Через пять минут на улице завыли сирены. К дому подкатили две машины. Из первой вышли полицейские. Вторая была из госпиталя Бельвю, — в ней были санитары с носилками. Начали собираться любопытные, — детвора, игравшая на улице, женщины, возвращающиеся с базара, какие-то рабочие.

Полицейские в сопровождении санитаров уже поднимались по лестнице к скульптору, который, ничего не подозревая, засел за прерванную работу. Снова раздался стук в дверь.

— Это уж слишком, — возмутился Лопатин. — Если этот мерзавец вернулся, чтобы вторично продемонстрировать мне пылесос, я спущу его с лестницы.

И с весьма решительным видом, он открыл дверь. Полицейские с опаской вошли в комнату, начали оглядываться.

— Что тут происходит? На вас жалуются. Вы производите беспорядок, шум.

Скульптор заволновался и начал объяснять на ломаном английском языке, что шум производил пылесос, а он, напротив, спокойно работал, — и вот — модель, не цают закончить... Они с любопытством посмотрели на модель, и один из полицей-

ских даже потыкал в курицу пальцем, но так осторожно, словно она была начинена динамитом.

— Вот что, — сказал он, — мы все, братец, поедем кататься. Недолго. Всего на несколько минут. А потом можно будет вернуться кончать работу. В состоянии вы спуститься по лестнице без посторонней помощи?

— Никуда я не поеду. Оставьте меня в покое! Сначала тут был какой-то назойливый тип, а теперь вы. В конце концов, это мой дом и вы не имеете права ко мне врываться.

— Тише, тише, братец, — довольно мирно сказал полицейский. — Не нужно скандала. Пойдем с нами.

И, высунувшись в коридор, он крикнул санитарам, что носилки не нужны, — больной сам спустится. Что прикажете делать, когда вас настойчиво приглашают на прогулку двое дюжих полицейских и санитары, явно решившие дорого продать свою жизнь? Лопатин сказал, что будет жаловаться, не оставит дела без последствий, надел шляпу и вышел на улицу. Двери на лестнице все были полуоткрыты, из них выглядывали испуганные лица. У выхода толпа расступилась, кто-то крикнул:

— Ведут! Ведут сумасшедшего!

Все это продолжалось лишь несколько секунд. Его посадили в автомобиль скорой помощи и они помчались. Никогда в жизни Лопатин не ездил по Нью Иорку с таким почетом, — впереди полицей-

ские, позади больничная машина, оглушительный вой сирен, останавливающий все движение, сочувствующие взгляды прохожих... Торжество продолжалось, впрочем, не долго. Машина нырнула в ворота госпиталя Бельвю, дежурный служащий записал имя и адрес, и Лопатина ввели в зал, где уже прогуливалось много людей в халатах. Дверь захлопнулась. И скульптор оказался в доме для умалишенных.

* *
*

Вокруг него расхаживали и сами с собой разговаривали какие-то больные. Одни сидели, неподвижно глядя перед собой в пространство; другие выкрикивали какие-то бессвязные слова. В углу, на табурете, сидел старик и тихо плакал, — очень страшно видеть плачущего мужчину. И из высоких окон, защищенных железными решетками, падал на эти страшные лица, какой-то неумолимый, мертвый свет.

Наконец, появился фельдшер. Лопатин обратился к нему с вопросом: когда его выпустят?

— У вас много времени, — засмеялся фельдшер и прошел дальше, не задерживаясь.

— А когда я увижу доктора?

— Завтра утром.

Прошел день, наступила ночь. В палате наполо-

вину выключили свет. Больные прилегли, но и во сне они не находили покоя, — метались, что-то выкрикивали, плакали и смеялись. Лопатин всю эту ночь не сомкнул глаз и к утру, вероятно, уже выглядел так, как большинство других обитателей палаты: на лице появилась серая щетина, под глазами — глубокие круги, в глазах — отчаяние.

Наступил докторский час. Его повели в кабинет, где врач взглянул мельком в лежавшие перед ним бумаги, приветливо указал на стул и спросил:

— Ваша фамилия Лопатин? Значит, вы — русский? Что же, мистер Лопатин, не надо отчаиваться. Мы вас быстро вылечим.

— Доктор, — сказал Лопатин, стараясь казаться спокойным, — доктор, спасите меня. Ведь произошло ужасное недоразумение. Я — совершенно нормальный человек.

Доктор весело взглянул на пациента и скороговоркой ответил:

— Да, конечно, в этом доме все решительно нормальные люди, кроме меня. Давайте лучше прочтем полицейский протокол.

Он погрузился в чтение и время от времени с удивлением посматривал на русского скульптора.

— Странно, очень странно. Курица, распятая на стене... Мистер Стюарт, представитель фирмы «Перфект Моторс» заявляет...

Закончив чтение он еще раз с любопытством взглянул на Лопатина и сказал:

— Хотя ваш случай и представляется довольно необычным, я уверен, что это лишь временное нарушение нормальных функций нервной системы, вероятнее всего, вызванное физическим переутомлением. Позвольте же задать вам несколько вопросов, — это даст мне возможность лучше с вами познакомиться и поставить правильный диагноз. Скажем так: что вы думаете о президенте Трюмэне?

До сих пор Лопатин все время внутренне повторял самому себе: «Только не волнуйся. Держи себя в руках. Иначе тебя обязательно признают сумасшедшим». Но тут он не выдержал.

— Доктор, послушайте, какое вам дело до того, что я думаю о Трюмэне?! Ведь надо мной совершено отвратительное насилие. Я сидел в студии, работал, ни с того, ни с сего появились полицейские и санитары, привезли меня в больницу и теперь вы разговариваете со мной, как с умалишенным.

— Разве? — удивился врач. — Неужели вас раньше никто не спрашивал, что вы думаете о Трюмэне? И вы тогда не приходили в негодование? Только то обстоятельство, что спрашивает об этом психиатр, выводит вас из состояния душевного равновесия. Не в этом дело, мистер Лопатин. Я стараюсь вам помочь. Отвечайте на все мои вопросы, не волнуйтесь, и я уверен, вас скоро выпустят.

Возражать было бесполезно, каждое слово истолковывалось против пациента. И он начал отвечать спокойно и толково. Он сказал, что думает

о Трюмэне и Сталине, рассказал дальше, что скульптурой занимается больше двадцати лет, и что курица нужна ему, как м о д е л ь. Нет, он не испытал никакого физического или морального наслаждения, прибив курицу к стене... После чего беседа закончилась, и доктор сказал, что пока не видит ничего ненормального, но должен еще несколько раз его повидать, — свидания будут происходить два раза в неделю.

— Доктор, — взмолился Лопатин, — разрешите мне, по крайней мере, позвонить друзьям по телефону и сообщить им, что со мной произошло.

Доктор разрешил и только попросил, чтобы больной говорил по-английски, — он хотел понять, о чем идет речь. Лопатин позвонил приятелю. Теперь представьте себе, что человек, которого вы отлично знаете, вдруг звонит по телефону и на ломаном английском языке говорит, что находится в сумасшедшем доме, куда его посадили по недоразумению и, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы добиться освобождения... Вероятно, в душе у вас все же зародится сомнение: а вдруг он действительно слегка рехнулся? Не посадят же зря... Друг сначала подумал, что это глупая шутка, но потом заволновался и обещал, что сделает все возможное.

Лопатин повесил трубку и почувствовал, что связь с внешним миром снова оборвалась. Оставалась страшная реальность: этот веселый, улыбающийся

доктор, искренне убежденный, что каждый человек — потенциальный сумасшедший, и что нужно только обнаружить слабое место в его мозгу, — очевидно, в данном случае он ищет признаков садизма, — и эта курица, распятая на стене...

Позже Лопатин старался вспомнить лица людей, сидевших в одной с ним палате, и — не мог. Все покрылось каким-то туманом. Очевидно, он слишком был взволнован и занят самим собой, чтобы обращать внимание на то, что происходило вокруг. Но он помнил, как в эту вторую ночь, проведенную в палате, его вдруг потрясла мысль, что, может быть, он действительно сошел с ума, — ведь это может случиться с каждым. Сумасшедшие всегда считают себя нормальными людьми и не видят странностей своих поступков. Он подумал, что мог что-то проглядеть в своем поведении — бывают провалы и ведь все, все без исключения, — и уборщица, и продавец пылесосов, и полицейские, и теперь доктор, — все считают его сумасшедшим. Может быть, он действительно потерял рассудок и этого не сознает? Это было самое страшное и, лежа на койке, он вдруг застонал и заскрежетал зубами, — точно так же, как делали это и другие больные, лежавшие рядом.

* *
*

А в это время в другой части города друзья сидели и обсуждали, как помочь. Они успели побывать на квартире, расспросили что произошло, и сразу сообразили, для чего Лопатину была нужна курица на стене, — он, кстати, говорил им о задуманной работе. Кто-то предложил обратиться к известному специалисту по нервным болезням, объяснить ему все и попросить вступить в переговоры с дирекцией госпиталя.

На утро специалист этот выслушал всю историю и позвонил в госпиталь. Он был крупным авторитетом, автором научных трудов, и ему ответили, что он может навестить больного когда угодно, — ничего особенного, кажется, случай не из очень серьезных, но клиническое обследование еще не закончено и пока трудно высказаться. Выпустить? Нет, выпустить сразу нельзя, были прецеденты, выпускали, а потом человек убивал на улице, и газеты начинали травить врачей и госпиталь. Но посетить можно, и мнение такого знаменитого коллеги будет, конечно, чрезвычайно ценным.

Знаменитый врач в тот же день отправился в Бельвю и побеседовал с Лопатиным в присутствии госпитальных врачей. На этот раз не задавали вопросов ни относительно Трюмэна, ни по поводу Сталина, а попросили изложить всю историю. Скульптор

рассказал, как не удавалась ему птица Гамаюн, как нужно было найти анатомическую модель, и ею оказалась курица... Постепенно все разъяснилось. Через пятнадцать минут знаменитый специалист встал и вышел с врачами в другую комнату, а затем Лопатину сказали, что он — свободен и может идти домой: бывают печальные недоразумения, — в конце концов, виновата полиция, но они надеются, что пациент не очень страдал, и что этот опыт даже содействовал его духовному обогащению.

Птицу Гамаюн Лопатин все же вылепил, — у человека оказался твердый характер. Скульптура эта теперь стоит на шкафу в его мастерской и постепенно покрывается пылью.

ГЛАЗА КЛАРЕНСА ПЭДДИКОРА

НЕСЧАСТНЫЙ случай, лежащий в основе моего рассказа, в свое время прошел почти незамеченным. Только газета, издающаяся в Портлэнде, в штате Орегон, кратко сообщила, что двадцатилетний студент Кларенс Пэддикор едва не погиб. Юноша открыл «рефриджирэйтор», давно уже бывший не в порядке, — открыл машинально, как делал это двадцать раз в день. Раздался взрыв.

Когда Кларенс Пэддикор пришел в себя, — перед глазами его стояла черная пелена. Он лежал несколько минут неподвижно, стараясь собраться с мыслями и вспомнить, что именно произошло. Был взрыв, потом мгновенная, режущая боль в глазах, пустота, небытие... Он осторожно поднял руку и поднес ее к лицу, — голова была забинтована, на глазах — повязка. От напряжения и боли он застонал, и невидимая сиделка сказала, чтобы он лежал спокойно и не трогал глаз, обожженных кислотой.

Пэддикор лежал несколько недель. Постепенно бинты снимали. Потом сняли и повязку с глаз.

— Что вы видите? — спросил врач.

— Ничего не вижу, — ответил Кларенс. — Ночь, темнота...

Юноша ослеп. Кислота сожгла его глаза, опустошила глазные орбиты.

Это случилось одиннадцать лет тому назад.

* *
*

Кларенсу очень хотелось жить и видеть.

Часами он сидел неподвижно, с высоко поднятой головой. В своей вечной ночи он воображал зелень, деревья, яркие краски цветов, женские лица. Неужели все это кончилось и он никогда больше не сможет читать книги, видеть людей, любоваться звездным небом?

Он ходил к врачам. Оптический нерв не пострадал, — может быть, ему можно еще помочь?

Врачи осматривали изуродованные глаза и качали головами. Роговые оболочки уничтожены полностью. Зрение никогда не вернется. Кларенсу советовали примириться со своей судьбой, изучить какое-нибудь ремесло, начать новую жизнь.

Он научился читать и писать по системе Брайа. Через несколько месяцев Пэддикор приобрел то «шестое чувство», без которого слепые не могут самостоятельно двигаться дома и на улице: он уже инстинктивно ощущал близость препятствия, возникающего на его пути, перестал натыкаться на ме-

бель и на стены. Ему дали собаку-проводника, — умного и верного друга, водившего слепого по людным улицам, ставшего его глазами. Пэддикора научили делать щетки, — это было скучное и мало доходное занятие. Потом он купил несколько машин-автоматов для продажи конфект. Нужно было как-то жить. Но когда началась война, доставать конфекты стало невозможно, и машины пришлось продать. Кларенс придумал другое, не сдавался, — он очень хотел жить.

Наконец, счастье ему улыбнулось. Он встретил девушку, которая полюбила слепого.

Они поженились. Родился один ребенок, потом другой.

Пэддикор научился улыбаться.

* *
*

Однажды в журнале для слепых он прочел о чудесных опытах, которые делает в одном из нью-иоркских госпиталей хирург-оккулист доктор Костровиго, пересаживающий слепым роговую оболочку, взятую у покойников. Если у только что умершего вырезать его роговики и поместить их в особый раствор, — они продолжают жить. Доктор Костровиго производит затем сложную операцию и пересаживает роговую оболочку людям, лишившимся зрения в результате несчастного случая. При на-

личии известных условий, роговая оболочка может срастись с поверхностью глаза, и зрение восстанавливается полностью или частично.

У Кларенса Пэддикора тогда еще были деньги. Он сел в поезд и поехал в Нью Иорк, к доктору Костровиго.

Хирург долго его осматривал и сказал:

— Боюсь делать вам операцию. Сейчас еще слишком рано... Моя работа пока находится в экспериментальной стадии и я не в праве рисковать. Еще не разработана техника, многое нуждается в проверке. Ваш случай — слишком трудный. Приезжайте ко мне лет через пять и тогда я попытаюсь вернуть вам зрение. Вы приехали слишком рано.

Слепой вернулся в Орегон.

* *
*

Пять лет прошли.

Кларенс внимательно следил за всем, что появлялось в печати относительно пересадки роговой оболочки. Техника сложной операции быстро совершенствовалась. Появился «Глазной Банк», которому люди, желавшие и после смерти быть чем-то полезными, завещали свои роговые оболочки. Кларенс Пэддикор решил, что наступил момент, когда он снова может попытать счастье. Может быть, на этот раз, его согласятся оперировать? Вся беда в

том, что от Портлэнда до Нью Иорка — около трех тысяч миль. Где достать деньги на поездку, хотя бы на железнодорожный билет?

Слепой, давно уже научившийся обходиться без посторонней помощи, понял, что рассчитывать он может только на самого себя. Кларенс подсчитал свои капиталы: у него было всего семь долларов. Жена сделала ему пакет с бельем и самыми необходимыми вещами и дала несколько сандвичей.

С этими сандвичами и семью долларами в кармане Пэддикор вышел на большую дорогу. Он решил идти в Нью Иорк пешком, — идти до тех пор, пока хватит сил, — только бы не сидеть неподвижно на стуле, уставившись в пространство и в вечный мрак.

Далеко идти ему не пришлось.

Первый же автомобилист, увидевший на дороге слепого с белой палкой, остановил машину и спросил, куда он идет?

— В Нью Иорк, — ответил Кларенс.

И он кратко рассказал свою историю. Автомобилист усадил слепого в машину и довез до ближайшего города, а там передал его другому, направлявшемуся на Восток. Так, меняя машины, Пэддикор добрался до Детройта. Здесь о нем уже знали, — кто-то рассказал местному журналисту необыкновенную попытку слепого отправиться пешком в Нью Иорк. Его пригласили на радиостанцию, предложили рассказать свою историю. И так как

история была трогательная и интересная — радиостанция купила слепому билет до Нью Иорка и дала на расходы сто долларов.

Он сел в ньюиоркский поезд.

* *
*

Случается так, что какие-то невидимые антенны случайно связывают совершенно разных людей, никогда раньше не подозревавших о существовании друг друга. Такие антенны неожиданно связали слепого с одним нашим соотечественником, г. К., живущим в Саратоге. Человек этот принадлежит к числу людей, которые верят в добро и, что случается значительно реже, любят помогать ближним. Прочтя в газете историю Пэддикора, он задумался, представил себе человека, который жаждет прозреть и не может обрести зрение только потому, что у него нет денег, и решил, что слепому, который готов идти пешком из Орегона в Нью Иорк, чтобы подвергнуться операции, нужно помочь. Через час в экспрессе Детройт-Нью Иорк негр подал Пэддикору телеграмму: мистер К. просил немедленно по приезде позвонить в Саратогу, — он сделает все, чтобы оплатить операцию и все его расходы в Нью Иорке.

— Я вдруг почувствовал, — рассказывал мне позже слепой, — что я не одинок, что среди миллионов людей нашелся кто-то, готовый мне помочь.

Пэддикор позвонил в Саратогу прямо с вокзала.

На следующий день К. приехал в Нью Иорк и поместил слепого в клинику д-ра Костровиго. И два дня спустя доктор произвел операцию, — пересадил на правый глаз Пэддикора новую роговую оболочку.

* *
*

В клинике, где оперировали Кларенса, на каждом этаже ощупью бродили люди с черными повязками на глазах. Пэддикор лежал в постели, — его правый глаз был забинтован, а веко левого было закрыто. Но когда он услышал голос своего друга К., лицо его просветлело, он протянул нам руки и заговорил каким-то ребячьим, ломающимся голосом, — да и во всей его внешности было что-то очень юное. В тридцать лет он оставался типичным американским «кидом».

Он сказал, что написал жене письмо, и что доктор Костровиго — удивительный человек, возвращающий зрение девяносто процентам оперируемых.

— Мне очень хорошо в клинике, — продолжал говорить Кларенс, и это — очень приятная комната...

Я украдкой оглянул эту приятную комнату и две другие кровати, стоявшие рядом. На одной ле-

жал человек, которого совсем недавно оперировали. Оба его глаза были забинтованы. Время от времени он стонал, и молодая женщина, сидевшая у постели, не выпускала руки больного. На другой кровати был человек, ослепший, видимо, совсем недавно. Он еще не научился обходиться без посторонней помощи, и его кормила с ложечки сестра.

Но Кларенс всего этого не видел, он жил своей внутренней жизнью, своими мыслями и надеждами, он думал только о том дне, когда доктор снимет с его глаз черную повязку. Неужели он снова увидит свет, и лица жены и детей?

— Подумайте, — говорил он, — ведь я не знаю, как они выглядят, никогда их не видел. Они появились в моей жизни после того, как я потерял зрение... Жена боится. Она говорит, что может не понравиться мне своей внешностью, но все уверяют, что она — молодая и красивая. У нее зеленые глаза и светлые волосы.

И он протянул карточку молодой и, действительно, прелестной женщины, которая ждала его в Орегоне.

— У вас очень красивая жена, Кларенс, и она не должна бояться. Зрячий человек не мог бы выбрать более красивой жены.

Он ничего не сказал, и на его ребячьем лице появилась застенчивая улыбка. Никогда в жизни я не видел более счастливого человека.

* *
*

Много месяцев спустя я узнал, что он вернулся в Орегон.

Операция не удалась. Роговая оболочка не срослась с поверхностью глаза.

Кларенс Пэддикор никогда не увидит, как выглядят его жена и дети.

МА-А-МИ!

ЛЕТО в Нью Иорке приходит сразу, без предупреждения, — раскаленные тротуары, духота аравийской пустыни и влажный пар, через который смотрит тусклое, пыльное солнце. В эти дни лучше всего наглухо закрыть окна, опустить шторы и лежать под вентилятором.

Человек, страдающий от жажды, всегда думает о воде; в такие жаркие дни почему то думаешь о том, что где-то, на океане, дует холодный ветер и прибой с ревом разбивается о скалы. Если броситься, зажмурившись, в воду, — мгновенно захватит дыханье и в тело вонзятся мириады острых иголок. Отплыть от берега саженками, затем перевернуться на спину и долго так лежать, покачиваясь на волнах и чувствуя, как быстро стынет кровь и холодеет все тело.

Назойливо и монотонно гудит вентилятор. Горячий воздух никакого облегчения не приносит... Да, удивительное это чувство — покачиваться на волнах и думать, что сегодня в Нью Иорке девяносто шесть градусов жары, и какая влажность! Очень жаль людей, оставшихся в городе. К чувству состра-

дания невольно примешивается легкое сознание своего превосходства, — на океане, все-таки, лучше. На мгновенье сознанье возвращается: я не на океане, а в нью иоркской душной квартире и вместо солнечного морского ветра в лицо бьет горячий воздух вентилятора, и эта проклятая, невыносимая влажность, от которой все липнет к телу и на лбу выступает испарина. Может быть, лучше открыть окна и устроить сквозняк? Рама окна поднимается. Чувство такое, словно поднята заслонка печи, и оттуда в лицо пышет жаром. Теперь перед моими глазами, вместо желтого песка и солнечных бликов на воде, голый фасад дома-коробки и длинный ряд открытых окон, и в окнах этих тени замученных жарой людей. Они лежат на диванах и кроватях, подвинутых к окнам, бесстыдно выставляя свою наготу, голые мужские торсы и женские бюстгальтеры, и я знаю, что эти люди тоже доведены жарой, влагой и бессонницей до полного притупления всех человеческих чувств и до состояния безвольных оцепеневших сомнамбул. Я знаю их всех, — и старичка, по утрам усердно читающего «Нью Иорк Таймз», и молодую чету с ребенком, — вечная стирка, пеленки, развешанные на кухне под потолком. По вечерам, вернувшийся с работы муж помогает жене мыть посуду. В соседней с ними квартире живут две миловидные девушки, которых целый день нет дома. Должно быть, служат где-нибудь моделями, продавщицами, или стучат на машинках. Возвращаются ве-

чером, долго принимают душ, — в матовом окне ванной комнаты движутся неясные тени, и хотя по существу ничего не видно, становится неловко смотреть, словно совершаешь нехороший поступок. Потом девушки появляются в легких халатах, в комнате у них слышно радио и весь вечер они что-то делают — стирают чулки, чтобы иметь на утро свежую пару, заняты маникюром, пишут письма, — никогда ни минуты не сидят без дела.

Дальше идет балкончик квартиры, в которой живет знакомая русская музыкантша. На балконе устроен сад, в зеленых ящиках цветет герань, петунии и настурции, — по городскому чахлые и хилые: должно быть цветам мешает дым и сажа из труб. По утрам дама старательно поливает свои владения из тонкой лейки и не видит, как струйки воды текут по фасаду дома и попадают в окна этажом ниже... Почему-то, при виде этой дамы я вспоминаю отрывок старой песенки, которую пели когда-то не то в «Летучей мыши», не то в «Кривом зеркале»:

А по утру, она все улыбалась,
И из лейки струилась вода...

Есть еще окна, но уже под косым углом, и что в них происходит из моей квартиры не видно, а жаль — в летние ночи, когда горят лампы под абажурами и детали выступают особенно выпукло, можно увидеть вещи необычные.

* *
*

В одну такую душную, летнюю ночь я впервые услышал печальный, тоскующий крик:

— Ма-а-ми!

Голос был детский, голос ребенка, которого оставили дома одного, и который томился и звал свою мать. Было в нем столько заброшенности, одиночества и печали, что невольно хотелось откликнуться.

— Маами! Маами!

На следующий вечер, такой же жаркий и мучительный, крик повторился. Я выглянул в окно. В низком облачном небе стояло багровое зарево, отсвет бесчисленных огней города. Где-то на горизонте, по ту сторону Гудзона, начиналась гроза, полыхали зарницы, но грома еще не было слышно. И этот голос брошенного ребенка давил так же, как приближавшаяся гроза и ночная духота. Нет ничего страшнее одиночества в громадном, равнодушном городе. В каждом окне свет, люди живут своей привычной, размеренной жизнью, едят, пьют, отдыхают, любят, — только это маленькое, брошенное существо не может примириться со своим одиночеством и зовет свою ушедшую «мами».

Постепенно детский голос начал преследовать нас по ночам, как какой-то ужасающий кошмар. С вечера мы начинали прислушиваться: будет ли

звать? Когда мать оставалась дома, мы ничего не слышали, все было хорошо. Но это были редкие, счастливые дни.

Первый, отчаянный вопль раздавался в сумерки, вскоре после того, как голуби, повозившись, устраивались на ночевку под крышей соседнего дома. Должно быть, мать только что вышла, закрыла за собой дверь, и ребенок кричал ей вслед, повторяя одно и то же слово, в котором было все: и ласка, и укор, и мольба, и страх одиночества. В такие вечера хотелось самому завыть от тоски, закрыть окна, заткнуть уши, сделать что-то, — только бы не слышать этого голоса.

В сентябре жара спала, вдруг исчезла влажность. Воздух стал сухим, небо прозрачным и синим, — таким, как его изображают на дешевых открытках с видами Флориды. Прошло лето, началась прохлада. Окна закрыли.

Больше мы не слышали «Маами» и быстро забыли о ребенке.

* *
*

Снова было лето, и крик повторился. Сначала это было даже приятно, крик прозвучал, как привет от невидимого, но знакомого уже существа. Слава Богу, — значит ничто не изменилось. Ребенок все там же, напротив. Постепенно этот крик стал частью

нашей жизни, как-то незаметно вошел в нее, превратился в тему для бесконечных вечерних разговоров. Мы старались вообразить, как выглядит ребенок. Конечно, это девочка. Как жаль, что нельзя узнать ее имя.

Прошел еще год, и еще, и ребенок все кричал, всегда одним и тем же тоскующим голосом и всегда одно и то же слово... И мы немного удивились:

— Сколько же ей теперь лет? Ведь она кричит свое «маами» из года в год... Собственно говоря, девочка за это время успела вырасти и превратилась, верно, в порядочную дылду. Вероятно, ей уже лет десять, если не больше. А она все еще кличет мамку! Бог знает, что за распущенность!

Теперь я уже ненавидел эту девченку, которой давно следовало бы понять, что мать не может ее вечно сторожить, что ей нужно уходить на работу. Играла бы в куклы, или легла спать, что ли... И, однажды, после очередного крика, я высунулся в окно и сам, подражая девочке, ответил протяжным, насмешливым голосом:

— «Мааами!»

Наступила тишина. Мой крик был услышан. Пристыженная дылда замолчала. И вдруг, с удвоенной энергией, она завопила свое невозможное «Маами!» Я не выдержал и с горечью побежденного, захлопнул окно.

Жена перестала смеяться, задумалась и сказала:

— А знаешь, ведь во всем этом есть что-то странное и даже необъяснимое. Она столько лет жалуется, зовет мать. Конечно, выросла. Но ум у нее остался такой же, каким был пять лет назад. Ведь это ненормально, и ребенок, верно, ненормальный. Может быть, это больной ребенок, какой-нибудь кретин, несчастное, беспомощное существо... И отца у нее, конечно, нет, а мать бьется, работает по ночам, — сколько нужно на одних только врачей, и на лекарства!

Как же я не подумал об этом? Это было единственное возможное объяснение, — такое простое, бесспорное и человеческое. И снова на нас нахлынула волна жалости: бедное, несчастное существо, не знающее ничего, кроме этого единственного, трогательного слова, вкладывающее в него все свои чувства, все свои потребности... Теперь мы страдали по настоящему и думали, как бы помочь. Может быть, можно что-нибудь сделать? Порекомендовать хорошего врача? Или послать игрушки, сласти фрукты? Все это было как-то неудобно, — в конце концов, у больного ребенка есть мать, и она, конечно, делает все, что нужно.

Но как страдали мы от каждого крика! Очень редко случались дни спокойные, когда больной совсем не было слышно, но были дни другие, — вопли «ма-ами» следовали один за другим, терзали нас, не давали покоя.

— Должно быть сегодня припадок... Уж очень часто. Нет, положительно нужно им помочь.

И мы решились. В этом самом доме, как я уже сказал, живет наша знакомая русская музыкантша. Лучше всего зайти к ней и расспросить. Она, конечно, знает, что происходит и сможет познакомить нас с матерью больной.

Час спустя мы вошли в дом, где жила русская дама, и поднялись к ней в квартиру.

Нас встретили приветливо: как хорошо, что зашли, можно будет выпить чаю и посидеть на балконе, там как раз распустился душистый горошек и есть какое-то дуновение ветерка... Нам было не до чаю. Мы волновались и переживали. Так, верно, чувствовала себя мисс Евангелина Бут в тот день, когда решила основать Армию Спасения. И мы сказали, что в этом доме уже много лет разыгрывается какая-то драма, есть тяжело больной ребенок, кажется слабоумный, и мы хотели бы помочь, но так, чтобы никто не знал, и чтобы мать не обиделась. Ребенок, который всегда повторяет одно и то же слово «Маами!»

Музыкантша пристально смотрела на нас. Лицо ее постепенно менялось, глаза расширялись и стали какими-то неподвижными.

— Больной ребенок? — переспросила она. — Который зовет свою мами уже много лет? Сейчас я покажу вам его...

Это было неожиданно и ужасно. Значит, сами

того не подозревая, мы попали в квартиру больной, нарушили тайну, грубо вторглись в чужую жизнь.

Дама подошла к дверям в столовую и широко распахнула их. Комната была пуста. Только в углу, у окна, сидел в клетке нахохлившийся зеленый попугай, чистивший клювом свои перышки. Увидев нас он встрепенулся, раскрыл рот и громко, протяжно и печально закричал:

— Маaами!

СОН ДИНЫ

УТРОМ я видел в «Дэйли Ньюз» фотографию: девочка плачет, обнимая моего друга, доктора В. С. Вайнберга. Под фотографией подпись: «Пятнадцатилетняя беженка из Европы находит новую семью в Америке». А вечером эта пятнадцатилетняя беженка Дина сидела у нас в квартире на диване, смотрела на новый для нее мир сияющими от счастья глазами и, время от времени, словно проверяя себя, спрашивала:

— Неужели я в Америке? Разве это — не сон?

Это не был сон, но вся история сильно напоминала сказку — с очень страшным началом и очень счастливым концом... Дине было восемь лет, когда в город ворвались немцы. Отца и мать убили на ее глазах, и я не решился спросить, как удалось спастись девочке. Кажется, был дан приказ детей не убивать, — дети были нужны немцам в качестве «рабочей силы». Вместе с другими сиротами Дину отправили в Германию и поставили работать на амуниционный завод, где выделывались гранаты. Нужно хорошо запомнить: этой «работнице», которая начиняла гранаты, было всего восемь лет.

Работа начиналась рано утром и кончалась поздно вечером, — двенадцать часов непрерывного, тяжелого труда. Кормили их так: чашка супа утром и чашка супа вечером, и один хлеб в неделю на ребенка.

— Я разрезала этот хлеб на семь тоненьких ломтей, — рассказывает Дина, — и сама себе говорила: «Этот ломоть на понедельник, этот на вторник, этот на среду...». Я была очень маленькая и очень голодная и иногда трудно было удержаться, — я отщипывала крошечный кусочек от порции следующего дня, потом еще кусочек, пока не съедала весь ломоть. Это означало, что один или два дня в неделю я буду совсем без хлеба. Когда начинались налеты и ревели сирены, немцы спускались в убежище, а дети разбегались по городу и, во время бомбардировок, под огнем, рыскали по домам: может быть, найдется что-нибудь съедобное, — сырая картофелина или миска капусты?

Немцы считали детей очень искусными работниками. Но иногда искусство не помогало: раздавался взрыв, и из мастерской выносили растерзанные тела. Наступил черед и Дины. Ее граната взорвалась очень удачно, не убила, а только изуродовала ей ногу. Зато потом можно было долго лежать в госпитале. Там было, все-таки, лучше, чем на фабрике.

Когда город освободили англичане, Дина весила семьдесят фунтов и не могла стоять на ногах.

Ее начали лечить и кормить, поместили в санаторию. Силы постепенно возвращались. После того, как больные поправились, англичане мудро решили отправить детей в Польшу, туда, где были зарыты тела их родителей. Конечно, дети не согласились. Англичане сказали, что их повезут в Италию, в Дом Отдыха, — там будет великолепно, много солнца, много еды... Дети с радостью сели на пароход. Повезли их не в Италию, а в Польшу. В эпоху Бевина понятия о чести и английском джентльменстве несколько изменились.

В Цоппоте не осталось ни евреев, ни еврейских организаций. Девочку пришлось поместить в католический монастырь, где надо было посещать богослужения. Маленькой Дине казалось, что она совершает грех, отрекается от своего Бога. Иногда ее с подругами водили обедать в какую-то столовую. В этой столовой детям сказали, что их скоро разлучат и разошлют по разным местам. У Дины была подруга, с которой она не хотела расставаться. Девочка вышла в коридор и начала плакать.

Кто-то положил ей руку на плечо и спросил:

— Чего ты плачешь?

Она подняла голову. Перед ней стоял молодой американский матрос. Дина продолжала всхлипывать, молчала, и матрос повторил:

— Чего ты плачешь?

Тогда она начала плакать еще больше и сказала, что у нее на свете никого нет, что она не желает

жить в католическом монастыре и не хочет расстаться с подругой. Матрос сказал:

— Пойдем со мной. Я постараюсь устроить тебя в еврейский Детский Дом.

Она не хотела пойти за незнакомым человеком. Он сказал, что его зовут Сол Чикмэн, что он еврей из Нью Иорка, — там у него живут отец, мать и сестренка, года на два старше Дины. Матрос накормил девочку, потом пошел со своим капитаном в монастырь и добился, чтобы девочку отправили в еврейский приют, в какой-то другой город.

Пароход должен был уйти вечером. Оставалось очень мало времени. Сол сунул в руку Дины бумажку с нью-иоркским адресом и на прощанье сказал:

— Напиши письмо моей маме... Она хорошая еврейская мама и она пришлет тебе что-нибудь, — может быть, платье, или сладкого. Обязательно напиши и скажи, что ты меня видела.

* * *

Миссис Фрида Чикмэн живет в Нью Иорке на Ист Сайде, на улице, населенной еврейской беднотой. Ряды скучных коричневых домов с лесенками, на которых в летние вечера сидят люди без пиджаков и женщины в застиранных ситцевых платьях. Посреди улицы детвора играет в бейсболл, из окон завывают радио-аппараты. На этой улице живут бедные, но хорошие и приличные люди. Мистер Чикмэн

имеет небольшой магазин, — он торгует старой мебелью. На дела пожаловаться нельзя, Рокфеллером он не станет, но на жизнь зарабатывает. Дочь Ренэ — самая красивая девушка на всей улице. На нее уже начинают заглядываться будущие бейсболлисты, и она ходит в школу, а летом, во время каникул, чтобы заработать несколько долларов, служит машинисткой в конторе. Сол плавает где-то в Европе, — он моряк торгового флота. Когда мама думает о Соле, ей всегда хочется плакать: такой хороший мальчик и должен плавать на пароходах! Чикмэны всегда мечтали вывести своих детей в люди. Слава Богу, дети хорошие, — краснеть за них не приходится.

Когда почтальон подал миссис Чикмэн письмо с польскими марками, она обрадовалась: наверно, письмо от Сола. Потом радость сменилась тревогой, — письмо было написано по-польски, незнакомой рукой. Не случилось ли, не дай Бог, чего нибудь с ее мальчиком? К счастью, соседка знает польский язык, — она приехала в Америку из Лодзи. Соседка перевела: какая-то еврейская сиротка видела Сола, и он дал ей нью-иоркский адрес. Девочка писала, что у нее в мире никого нет, — может быть, она может писать миссис Чикмэн и называть ее мамой?

Миссис Чикмэн заплакала, потом заплакала женщина, переводившая ей письмо.

Конечно, Дина может называть ее мамой... Но как помочь бедной девочке?

* *
*

В. С. Вайнберг узнал об этой истории случайно — миссис Чикмэн зашла к нему поговорить о какой то своей одесской родственнице. И, заодно, рассказала ему о девочке, которая пишет нежные письма, называет ее мамой, и которой она посылает пакеты.

— Доктор, — нерешительно спросила миссис Чикмэн, — может быть, эту девочку можно сюда выписать?

Доктор показал на груды писем, которые Одесское Землячество получает из Европы с просьбами о помощи. Каждый из этих людей мечтает приехать в Америку и просит прислать ему аффидэйвит. Откуда добыть все эти аффидэйвиты? И потом, — так трудно получить визу, в особенности для сиротки, не имеющей в Америке родственников!

Вечером В. С. Вайнберг рассказал жене о визите миссис Чикмэн, и о страшной судьбе Дины. Жена посмотрела на мужа и сказала:

— Почему же мы не можем ее выписать?

Это было так логично и так просто, что доктор сразу согласился. Но осуществить решение оказалось делом нелегким. Пришлось начать долгие хлопоты, дождаться получения квотной визы. Девочка тем временем была отправлена с группой детей из Польши во Францию, а из Франции организация

ортодоксальных евреев собиралась переотправить юных иммигрантов в Палестину.

Конечно, Дина хотела ехать в Америку, где у нее есть добрая мама и появились дядя и тетя Вайнберги. В приюте негодовали:

— Твое место в Палестине!

И другие дети, мечтавшие о подвигах и славе, уже видевшие себя солдатами Хаганы, дразнили Дину:

— Американише лэди!

Пока писали письма, пока бумаги путешествовали из одного департамента в другой, прошло не мало времени. Американише лэди исполнилось пятнадцать лет, когда, наконец, ей сказали, что она может ехать в Америку.

* *
*

— Неужели я в Нью Иорке?

Она в Нью Иорке, в крошечной квартирке на Девятой улице. Три комнаты. В первой, на диване, спит Дина с ее новой сестрой Ренэ. Во второй спят мистер и миссис Чикмэны. В третьей помещается Сол, — он уже не плавает по морям и нашел себе постоянное место в Нью Иорке. Мистер Чикмэн сказал жене:

— Ну, что же, — немного потеснимся. Она — хорошая девочка!

Дину одели. У нее есть новое платье и модное зеленое манто, — точно такое, как у Ренэ. Ей уже показали Таймс Сквер, она изведала радость «айскрим сода» в угловой аптеке. Начала ходить в школу.

Дина очень счастлива.

Постепенно она превращается в стройную красивую девушку. Иногда по ночам ей снится чудесный сон, — она едет в Америку, к новой маме, миссис Фриде Чикмэн. И Дина просыпается в слезах радости.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ КАПИТАНА КЛАРКА

Капитан Кларк жил в одном с нами доме и, помнится, с первого знакомства меня разочаровал: по всем литературным традициям морской волк должен быть коренастым, широкоплечим человеком с обветренным лицом, ходить в развалку и отпускать крепкие словечки. Ничего этого у капитана не было, — он производил впечатление среднего американца, при встрече с которым не сразу можно догадаться об его профессии. С одинаковым успехом он мог быть адвокатом, продавцом автомобилей Форда или изготовлять сандвичи в угловом «дрог-сторе».

Одна черта его характера меня все же поразила. Вместо обычной американской приветливости, разговорчивости и любопытства к новым людям, был он довольно скрытен и молчалив, никем и ничем особенно не интересовался и вообще старался не вмешиваться в чужие дела. И о себе капитан не любил рассказывать. Только после нескольких лет знакомства, да и то совершенно случайно, я узнал, что во время войны он ходил с конвоями в Мурманск и дважды немецкие самолеты топили его суд-

но. Это рассказала мне его жена Маргерет, милейшая женщина и кроткое существо, ходившая по воскресеньям в пресвитерианскую церковь и певшая там в хоре.

Настоящей дружбы между нами не было, — прежде всего из-за неразговорчивости и нелюдимости капитана и, кроме того, приезжал он домой не часто, на короткие сроки, а больше бывал в плаваниях, которые продолжались иногда месяцами. Но Маргерет заходила к нам по вечерам поболтать, и от нее мы знали, что Кларк — она всегда называла его по фамилии — сейчас в Японии или Северной Африке, и что она ждет его через пять-шесть недель. Никогда она не жаловалась на одиночество, но нам казалось, что вся жизнь этой женщины проходит в ожидании. И, наконец, наступал день, когда вдруг раздавался телефонный звонок и происходил очень короткий разговор:

— Как поживаешь, Маргерет?

— Отлично. Как ты, Кларк? Когда пришел пароход?

— Час назад. Мы стоим у пристани на 36-й улице. Я должен еще зайти на таможню с бумагами, потом поеду в Компанию и часов в пять буду дома.

И перед тем, как повесить трубку, он говорил:

— Марджи, приготовь хороший обед.

* *
*

Именно такой разговор произошел в то утро, когда капитан Кларк вернулся из Дакара. Он был, как всегда, лаконичен, но сказал жене, что плавание вышло тяжелым, он порядком устал и приедет домой сейчас же после того, как отпустит команду и побывает в пароходном обществе.

Полицейское расследование, которое началось только на третий день после исчезновения капитана Кларка, установило, что он действительно побывал в Компании, сдал там довольно крупную сумму денег, получил свое жалованье и долго разбирал какие-то документы, связанные с грузами. Все это заняло не мало времени. Освободился он только в четвертом часу дня и сказал, что едет повидать жену, — один из служащих Компании отпустил по этому поводу принятую у моряков в таких случаях шутку, и капитан, против обыкновения, даже улыбнулся.

Час спустя его видели на углу Бродвея и 70-й улицы, в двух шагах от дома. Вместо того, чтобы идти к себе, капитан зашел в бар Отеля Аламак, где его хорошо знали, выпил стакан пива, купил пачку папирос. В баре он провел всего несколько минут. Барман позже показал, что у Кларка был озабоченный вид и что выглядел он очень усталым.

Было около четырех часов дня.

Теперь капитану Кларку оставалось только свернуть за угол и сделать сотню шагов, чтобы попасть к себе домой.

* *
*

Маргерет накрыла на стол, приготовила все для коктейлей и надела свое лучшее воскресное платье. На обед было все, что любил капитан: сельдерей с зелеными оливками, громадный стэйк, запеченные по бостонски бобы и пышный яблочный пирог, который на этот раз особенно ей удался. Теперь все было готово, оставалось только ждать. Обычно эти последние минуты ожидания были особенно томительными.

Капитан опаздывал. Часов в семь Маргерет подумала, что можно, конечно, позвонить в Компанию и спросить, когда он вернется, но это было неудобно, — жены моряков не должны показывать, что они беспокоятся, как не полагалось, например, приезжать в порт, встречать или провожать мужа. К тому же, теперь слишком поздно: служащие кончили работу, разошлись, и на звонок никто не ответит. Немного погодя она решила, что капитан встретил в Компании какого-нибудь старого приятеля, и они отправились выпить, — это иногда случалось. Бывало и нечто другое, более серьезное, что Маргерет тщательно скрывала от знакомых: после возвраще-

ния из дальнего плавания у капитана иногда начинался запой.

Запои случались нерегулярно и, в общем, редко: один или два раза в году. Это была реакция на большую физическую усталость, — непреодолимая потребность в алкоголе, который помогал ему забыть все на свете и, в особенности, страшное моральное напряжение во время плавания. Запой продолжался всегда несколько дней. В это время капитан домой не являлся, снимал комнату в каком-нибудь маленьком отеле, запирался и пил молча, до потери сознания, отсыпался, посылал снова за бутылкой виски и пил до тех пор, пока не проходила потребность. На второй или третий день он приходил в себя, — ледяной душ, чашка черного кофе, и после этого возвращался домой. Маргерет встречала его молча, она понимала, что это — болезнь, усталость, которую нужно выгнать из тела, и это — несчастье, которое следует переносить с христианским смирением.

Проходили часы. Перестоявшийся обед давно был снят с плиты. Вначале Маргерет прислушивалась. Каждый раз, когда поднимался лифт, она надеялась, что сейчас откроется дверь и войдет муж. Но капитан не входил, и теперь она знала, что он вернется только через два или три дня, придет молча и потом долго будет сидеть в кресле, не смея поднять на нее виноватые глаза... В эти дни она любила его еще больше, — любовь ее становилась глубже и слож-

ней, смешиваясь с материнским состраданием и жалостью к этому больному, несчастному человеку, который был для нее самым лучшим, самым близким и необходимым существом в мире.

В общем, все это уже случалось и раньше. Нужно было ждать и молчать. Никто не должен был знать о тайном пороке капитана Кларка.

* *
*

Маргерет много проплакала, прежде чем решилась обратиться в полицию и предать дело огласке. Прошло уже 3 дня, все сроки были пропущены и каким-то внутренним инстинктом она почувствовала, что дальше молчать нельзя, — мужа необходимо найти. Может быть, он болен, или с ним случился припадок амнезии, и он нуждается в помощи.

На утро четвертого дня она позвонила в полицию и оттуда прислали двух детективов. Они долго расспрашивали о капитане, об его привычках, выясняли самые интимные подробности, — все это было тщательно записано и оказалось, что большая и сложная человеческая жизнь отлично умещается на нескольких клочках бумаги.

Детективы сказали, что это случается часто, в особенности с моряками, возвращающимися из дальнего плавания. Они исчезают и потом выясняется, что была попойка или случайная встреча с

женщиной. В этот момент миссис Кларк подняла руку, словно защищаясь от удара и ответила, что запои бывали, — очень тяжела жизнь моряков, и война, — но женщина — нет, никогда!

Детективы не настаивали: так всегда говорили жены исчезнувших мужей до тех пор, пока беглеца не находили где нибудь во Флориде в обществе молоденькой женщины... Конечно, это не обязательно: сегодня же будет произведена проверка во всех госпиталях, куда могли доставить раненого или больного, и приметы капитана сообщат во все соседние штаты и порты. Они взяли фотографию Кларка и ушли.

На следующий день фотография появилась в газетах под заголовком «Исчезновение или бегство?» Маргерет узнала, что в госпиталях и в морге капитана не оказалось. Полиция начала обходить отели в районе Бродвея и 70 улицы и опрашивать служащих: не помнят ли они человека, изображенного на фотографии? Нет, такого не видели. Репортер вечерней газеты, специализировавшийся на преступлениях в нью-иоркском порту, выдвинул свою версию. За час до исчезновения капитан получил в Компании довольно крупную сумму, — жалованье за несколько месяцев и специальную премию. Кто-либо из экипажа, знавший об этом, мог предупредить бандитов. Капитана проследили. В ту минуту, когда Кларк вышел из бара Аламак, к нему

мог подойти человек, приставить к боку дуло револьвера и приказать сесть в поджидавшую машину. Такие случаи в Нью Иорке бывали даже и среди бела дня, в толпе, и при наличии для бандитов счастливых обстоятельств, могли пройти незамеченными. Человека увозили за город, убивали, а затем тело с тяжелым камнем, привязанным к ногам, отправлялось на дно Гудзона или какого-нибудь озера.

Версия эта казалась довольно правдоподобной, но Маргерет сказала, что этого не могло случиться: журналист просто не знал Кларка.

— Его не мог испугать револьвер, приставленный к боку, и он не из тех, кто садятся в машину к похитителям, не оказав сопротивления.

Были и другие предположения, но все они постепенно отвергались. Версию о бегстве с деньгами полиция отбросила сразу: перед тем, как отправиться домой, капитан сдал в Компании крупную сумму, — всю пароходную кассу. Так не поступает человек, задумавший бежать с денежным ящиком. Миссис Кларк долго верила в амнезию, — люди внезапно теряют память, бродят по улицам, не зная кто они, и как их зовут... Но по мере того, как дни проходили, становилось ясно, что человек, потерявший память, не может до бесконечности бродить по улицам Нью Иорка, не обратив на себя внимания. Запой не мог быть таким продолжительным... Женщина?

Об этом миссис Кларк предпочитала не думать.

* *
*

Много людей исчезает в большом городе. Одни возвращаются, других ищут и находят, о третьих забывают.

Постепенно начали забывать и о капитане Кларке. Детективы занялись другими, более срочными делами. Вначале соседи с участливым видом спрашивали, нет ли чего нового? Постепенно вопросы прекратились, — это было бесполезно и слишком жестоко. Но мы знали, что миссис Кларк верит, — человек не может исчезнуть бесследно в ста шагах от дома, раствориться в людском потоке, не оставив свидетелей. Кто то знает, должен знать.

За эти недели Маргерет сильно изменилась. Лицо ее стало строже, значительнее, под глазами появились темные круги. В отношениях с людьми проявилась сдержанная холодность, — она очень страдала от предположений, что муж мог ее бросить, и этой холодностью защищала себя от людской жестокости. Она много думала и много молилась. Никто не мог сказать, молится ли она о спасении капитана или за упокой его души.

Появились и материальные заботы. Какие то деньги у нее были, — очень небольшие, был и страховой полис, который, однако, нельзя было использовать, так как никаких доказательств смерти капитана Кларка она не могла представить. По

этой же причине и Компания не приступила к выплате пенсии. Когда деньги кончились, она нашла работу — ухаживала за больными, и в какой-то степени это было даже лучше: оставалось меньше времени думать об исчезнувшем муже.

А затем произошло событие, чрезвычайно ее смутившее и спутавшее все имевшиеся предположения о живом трупе. Свидетель нашелся. Это был моряк, вернувшийся из Африки. Моряк сказал в Компании, что шумиха вокруг исчезновения капитана Кларка поднята совершенно напрасно. Всего месяц назад он встретил Кларка на улице в Казабланке. Кларк торопился, и отказался выпить стакан вина, — ему нужно было спешить на пароход... Какой пароход? Моряк не знал. Но в том, что он Кларка встретил, не могло быть сомнений: оба знали друг друга долгие годы.

Рассказ этот детективов вполне удовлетворил, — дело принимало банальный оборот и заканчивалось так, как они предполагали. Но у миссис Кларк он вызвал душевное смятение. Мертвый капитан Кларк был ей ближе и понятнее, нежели живой. Человек мог потерять память, его могли убить, — это было приемлемо и это разрешало все сомнения. Но живой капитан Кларк, исчезнувший на Бродвее и оказавшийся потом в Казабланке, открывал путь для всех предположений. Как мог он бежать после стольких лет совместной счастливой жизни, не предупредив, не дав о себе знать? Одного слова, коро-

тенькой записочки было достаточно, чтобы избавить ее от пережитой агонии, глухой боли, стыда, бессонных ночей. Теперь ей казалось, что она предпочла бы узнать о смерти Кларка. Как она хранила бы его память! Мертвый Кларк был символом жертвенности и любви; живой вызывал только чувство стыда, смешанное с ненавистью.

И наступил день — через шесть или семь месяцев после исчезновения — когда раздался телефонный звонок, которого Маргерет так ждала и боялась. Знакомый голос сказал привычную фразу, словно ничего особенного за это время не произошло:

— Как поживаешь, Маргерет?

— Отлично. Как ты, Кларк? Когда пришел пароход?

— Час назад. Я скоро буду дома... Я все тебе объясню.

Он помолчал, ожидая вопроса. Маргерет ни о чем не спросила.

— Приготовь обед, Марджи, — уже весело сказал капитан.

— Обеда не будет. И меня не будет дома. Можешь не возвращаться.

И она повесила трубку.

Капитан Кларк все же пришел домой через час. На звонок его никто не ответил. Дверь была заперта, Маргерет ушла, никого не предупредив, ни с кем не попрощавшись. В конце месяца за ее вещами приехали из транспортного общества, — они все

упаковали и вывезли мебель в один из западных штатов, куда переехала Маргерет.

Что произошло тогда на Бродвее с капитаном, никто в точности не знает. Рассказывали, что исчезновение он объяснил запоем, который был на этот раз особенно длительным и тяжелым. Придя в себя, он почувствовал, что надо бежать, — от жены, которой было стыдно показаться на глаза, от своей болезни, от самого себя. Денег у него не было: во время запоя бумажник исчез таинственным образом, — может быть, его украли, или он потерял все, что получил за месяцы плавания. Кларк отправился в порт и записался простым матросом на первое судно, уходившее в Африку... Позже Компания приняла его обратно на службу; он попрежнему на капитанском мостике и плавает в дальних морях.

СЭМ

Все звали его Сэм.

Много позже, когда мы ближе узнали друг друга, он сказал, что настоящее его имя — Семен Исаевич. Сэмом он стал лет сорок назад, когда приехал в Америку, — американцы любят называть людей по первому имени: так коротко, просто, и есть в этом некая располагающая и дружеская фамильярность.

России Сэм почти не помнил — он выехал совсем молодым, но по-русски говорил охотно. От прошлого у него сохранились какие-то отрывки случайных воспоминаний, с годами принимавшие лирическую окраску, — он вдруг цитировал басни Крылова, или рассказывал о том, как бабушка сушила свои чулки на громадном медном самоваре, или спрашивала, умею ли я играть в «чилика»? Россию и все русское Семен Исаевич любил трогательно, — может быть потому, что в памяти воспоминания о «старом крае» сливались с его собственной молодостью. Сэм твердо верил, что после Нью Иорка лучший город в мире — Минск. Там он родился, там ходил в школу и оттуда уехал за океан пятнад-

цатилетним мальчиком. Заговорив о России, Сэм немедленно переходил с английского языка на русский, и что за красочный это был язык!

— Америка, — говорил Сэм, — она ломает человека. Я здесь прошел, как говорится, огнем и мечем через медные трубы... Бутылки мыл, в прачешной работал, помогал строить бруклинский мост, был разборщиком домов, развозил товары на грузовике. Были дни, когда я голодал, и ночи, когда приходилось спать в Центральном Парке, — очень там неудобные скамьи. Знаете, иммигранты всегда жалуются, что приехали сюда слишком поздно. Я приехал в Америку слишком рано. Тогда никто еще не помогал «зеленым», не было настоящих законов, мы работали по шестнадцать часов в сутки, и хозяева, как говорится, доили нас, как быка за рога.

Скоро я заметил эту особенность в разговоре Сэма: он очень любил щегольнуть пословицей или поговоркой, и при этом безжалостно все перевирал, так что получалось нечто совсем нелепое. Но Семен Исаевич ценил в себе знание поговорок и щедро разукрашивал ими свою речь. Должно быть, в самом начале нашего знакомства, именно это его качество и заставляло меня заходить в бакалейную лавочку Сэма на Амстердам авеню. Я прислушивался к его рассказам, стараясь запоминать отдельные фразы и, по возвращении домой, записывал их. Но довольно быстро выяснилось, что, кроме красочности речи, у Сэма имелось нечто большее, был он необычайно

добрый человек, на все смотрел глазами снисходительными и понимающими. С ним было спокойно и как-то уютно.

До сих пор не могу понять, каким чудом существовала его торговля. Лавка была узкая, полутемная, в ней всегда пахло плесенью и сырыми опилками. На окне, среди старых консервных банок, сладко спала рыжая кошка, — из-за этой кошки, свободно разгуливавшей среди товаров, я покупал у Сэма продукты только в герметически запаянных банках. Собственно, никаких особенных товаров у Сэма не было. Лавочка была убогая, словно специально созданная для итальянской и еврейской бедноты, населявшей квартал, и заходили в нее больше люди, которым нечем было платить. Сэм философски отпускал товар в кредит и если через месяц-другой ему приносили деньги, страшно удивлялся и качал головой. Казалось, — все его взгляды на жизнь и все его планы этим нарушались.

Как то я спросил:

— Ведь вас люди разоряют, Сэм? Как вы можете торговать?

Он тихонько смеялся.

— Знаете, как говорится, тяну себе лямку Мономаха. Вы не смотрите на то, что все это — ужасная беднота. Они честные и отдают долг, когда могут.

Как раз во время этого разговора в лавку вошел замызганный, смуглый мальчуган и сказал, что ему

нужен фунт кофе, булка и два огурца. Сэм снял с полки засиженный мухами пакет с кофе, добыл с прилавка хлеб и начал шарить рукой в бочке, в которой, среди заплесневшего рассола плавали вялые огурцы. Отпустив товар, Сэм критически уставился на покупателя и с притворной строгостью спросил:

— Как насчет денег?

— Мама сказала, что Сэм подождет до пятницы. Деньги будут в пятницу.

Семен Исаевич повернулся ко мне торжествующе, словно доказывая свою правоту, и бросил:

— Видите? Много ли человеку земли нужно? Это Толстой спрашивал. Моим покупателям нужен фунт кофе, хлеб и два огурца, — и они сыты и счастливы. Шестьдесят семь копеек. Между прочим, за пятницу я не ручаюсь. В пятницу ее муж получит жалованье, напьется и, конечно, не донесет денег до дома. Как говорится, цыплята осенью читают!..

Мальчуган все еще стоял, прислушиваясь к непонятной ему речи.

— В чем дело, сынок?

«Сынок» выразительно кивнул головой в сторону банки с леденцами. Ни слова он не сказал, действие разыгрывалось, как в пантомиме, и каждое из участвующих лиц отлично знало свою роль. Семен Исаевич спохватился, бережливо приподнял крышку стеклянной банки, вынул две конфетки и протянул их мальчику. Очевидно, это было что-то вроде

законной комиссии, которая полагалась важному покупателю.

— Что ты скажешь?

— Спасибо, Сэм!

Мальчишка улетучился. Семен Исаевич загрустил, — такой хороший мальчик, а вырастет, и станет паскудняком, как его отец. Пьяница, бездельник и бьет жену, — слабую, всегда бледную женщину с тонкими, бескровными губами.

— Преступный болван, — вздохнул Сэм. — Несчастная жена, несчастные дети... Вы знаете, как говорится, таким людям море, — что полено!

Филантропическая деятельность Семена Исаевича кончилась именно так, как и следовало ожидать. Наступил день, когда двери лавочки на Амстердам авеню больше не открылись. Из расспросов соседей я выяснил, что Сэм разорился. Он не вел никаких записей и не знал, кто и сколько ему должен. Должно быть, банкротство это он предвидел и морально к нему подготовился, но для бедноты квартала это была настоящая катастрофа. Где теперь брать в долг сахар, соль и кислую капусту?

Над лавкой у Сэма была крошечная квартирка, две комнаты, выходившие окнами во двор, заваленный всякой рухлядью, пустыми бутылками и ящиками. Я зашел к нему, — это было что-то вроде визита соболезнования. Семен Исаевич извинился за беспорядок, живет он один, как полагается вдовцу. В спальне, над постелью, висел портрет его по-

койной жены в черном платье, с высокой прической и часиками на груди, а рядом портрет самого Семена Исаевича в те годы, когда он был еще молод. Изменился он до неузнаваемости, и я вспомнил любимую фразу Сэма о том, что Америка ломает человека. Дети? Да, конечно, есть и дети, но они давно разъехались в разные стороны и им не до старика-отца. Нет, дети, слава Богу, хорошие, вышли в люди. Дочь замужем за инженером в Питтсбурге, а сын в Вашингтоне, на государственной службе и очень занят. У каждого своя жизнь, и он это понимает, но только иногда становится грустно и оказывается, что они с женой мучались, работали, вырастили детей, — жена умерла, и теперь он остался совсем одинок. И эта неприятность с лавкой оглушила его, как говорится, хоботом по голове. Кто бы мог думать? Оказывается, он продавал чужой товар, за который надо платить.

— Где же достать деньги, Сэм?

— Будь я богат, банкиры стучались бы ко мне в двери и совали в руки деньги. Но когда бедняк стучится к банкиру, он всегда приходит не во-время. Может быть, банкир как раз в это время обедает, или выдает свою дочку замуж? Ничего не поделаешь, теперь я целыми днями бегаю по городу и, как говорится, кручусь, как белка в колеснице...

Все это было очень грустно и в первый раз в жизни я пожалел, что не стал банкиром.

На некоторое время я потерял Сэма из виду.

Лавочку его снял китаец-прачешник, с трудно-произносимым именем, работавший утюгом с семи утра до полуночи. Китайца очень быстро прозвали Ли, — так было легко, удобно и, в общем, похоже на его настоящее имя. Раза два я поднимался на второй этаж и стучал в дверь квартирки, но Сэма не было дома. Ушел я ни с чем, и потом, в сутолоке нью-иоркской жизни, как-то позабыл приятеля.

Прошлой весной я шел без дела по Бродвею, разглядывая прохожих и витрины магазинов. Около 73 улицы, там, где Бродвей сходится с Амстердамским авеню, устроено нечто вроде сквера: несколько пыльных деревьев и скамьи, на которых, как воробьи на ветке, сидят нахохлившиеся старики и старушки, греющиеся на солнце. Один из сидевших меня окликнул. Я оглянулся, и только подойдя вплотную, узнал Семена Исаевича. До чего он за это время состарился! Рука, которую я пожал, заметно дрожала. Вокруг исхудавшей шеи с отвисшей кожей был обмотан платок, а день был уже по летнему жаркий и влажный.

Сэм поймал мой огорченный взгляд и, усмехнувшись, спросил:

— Не узнаете?

— Что вы, Сэм! Я ведь заходил к вам, спрашивал...

— И вам никто ничего не мог сказать? Конечно, никто. Пока Сэм был купцом и имел лавку, к нему заходили люди, которым был нужен фунт хлеба

или кусок колбасы. А с того дня, как его отвезли в больницу, о Сэме все забыли, его вычеркнули из книги живых, как я когда-то вычеркивал безнадежных кредиторов. В общем, поступил я неправильно: мне следовало умереть, а я выжил. Отлежался в больнице и вышел, — захотелось еще раз побывать на Амстердам авеню и посмотреть, что тут делают люди. Вот прожил я на этой улице всю жизнь, а теперь меня уже никто здесь не узнает, как и вы не узнали. Знаете, почему? Потому что я еще не мертвый, но уже больше и не живой человек. Как говорится, над головой навис маклаков меч. Видели вы когда-нибудь в нашем квартале пьяного, или просто больного человека, лежащего на тротуаре? Прохожие тщательно его обходят. Никто не остановится, каждый занят своим делом и никто не желает быть замешанным в чужие неприятности. Может быть, человек вовсе не пьян, а болен или умер. Мимо пройдет множество людей и никто не замедлит шаг и не посмотрит, — не нужно ли помочь? Страшный город Нью Иорк.

Я спросил, где он теперь живет, и Семен Исаевич сделал неопределенный жест рукой куда-то в пространство.

— У меня есть комната. В Бронксе, далеко отсюда. Но я скоро возвращаюсь в госпиталь, так как все равно, нет больше сил.

Разговор наш не клеился, или и я был одним из тех людей, которые торопятся пройти мимо, глядя

прямо перед собой невидящими, стеклянными глазами. Чтобы как нибудь замять неловкость, я спросил, можно ли будет его навестить в госпитале? Сэм снова сделал неопределенный жест рукой, словно знал, что я вряд ли приду. На мгновение в глазах его промелькнуло что-то ироническое, как у старого Семена Исаевича в хороший период нашей дружбы. Он протянул мне дрожащую, исхудавшую руку и сказал:

— А все-таки, с вами было приятно. Вы называли меня оптимистом, а я и теперь считаю, что люди не такие уж плохие. Мы с вами любили потолковать о смысле жизни и о всяких интеллигентных вещах. Когда у меня был сердечный припадок, и я думал, что умираю, все оказалось гораздо проще, и я вдруг многое понял.

— Что же вы поняли, Сэм? — спросил я.

— Идите. Вам еще рано это знать. Как говорится: ласточка просто открывалась.

Мы распрощались, и каждый пошел в свою сторону.

НЕПОНЯТАЯ НАТУРА

ЕЛЕНА ИВАНОВНА пришла в этот вечер какая то особенная, взволнованная и немного томная. Сидельниковы, у которых она бывала в гостях раз в неделю, не обратили, впрочем, на это особенного внимания. Час был обеденный. Все хотели есть и торопились сесть за стол.

— А что, Маша, — сказал Сидельников, обращаясь к жене, — нельзя ли, по случаю благополучного прибытия гостьи, — этого самого? Его же и монаси приемлют, как говорил покойный Чехов. Говорят, страшно любил водку. И Елена Ивановна с нами выпьет.

Елена Ивановна запротестовала, но Сидельников сразу оживился, мгновенно раздобыл бутылку и налил всем по рюмке.

— Ну, — сказал он, слегка щурясь от предстоящего удовольствия, — дай Боже, чтобы завтра — тоже!

Выпил, страдальчески поморщился и начал тыкать вилкой в заправленную селедку.

После второй рюмки Сидельников совсем пришел в благодушное настроение и принялся за еду,

— ел он и разговаривал быстро и беспорядочно, не обращая внимания на сидевших за столом, так что казалось, будто говорит он сам с собой. А Елена Ивановна ела медленно и пила, как полагается гостье, маленькими, осторожными глотками, вероятно, для того, чтобы показать, что она не голодна и хорошо воспитана. И все время, пока Сидельников шумно выпивал и закусывал, а Маша с натянутой улыбкой изображала гостеприимную хозяйку, с лица Елены Ивановны не сходило то самое томное и торжественное выражение, с которым она вошла в комнату. В конце концов, даже Сидельников что то заметил и спросил:

— А что вы сегодня такая нахохлившаяся, сударыня? Может быть — именинница? Тогда под это следует выпить особо.

Елена Ивановна улыбнулась, как Дама с Камелиями в третьем акте, и слабо покачала головой. Нет до именин еще далеко, и вообще не произошло ничего особенного. Ответ этот вполне удовлетворил Сидельникова, но жена его сразу почувствовала, что гостья не говорит правду. Влюблена? Или, чего доброго, замуж собралась?

— Влюблена, — подтвердил Сидельников, принимаясь за свежую котлету. — Влюблена, как кошка. Так сказать, лирический антракт: я пью волшебный яд желаний!

— Ты, кажется, пьешь не волшебный яд желаний, а третью рюмку водки, — заметила жена.

— Третью? — удивился Сидельников. — Никогда бы не сказал. Впрочем, как говорил покойный Чехов, веселие Руси есть пити и ести.

Был он, в общем, человек не плохой, но по натуре пошлый, а с годами эта культивируемая пошлость постепенно усиливалась. Он уж не мог ни о чем говорить серьезно, а все больше балагурил, сыпал прибаутками, и на каждый случай жизни у него был припасен старый, давно всем известный анекдот. Жена к этому привыкла и не обращала больше внимания. Она вообще редко слушала то, что говорил Сидельников. За долгую совместную жизнь все нужные слова были сказаны, все его истории в разных вариантах прослушаны десятки раз, и теперь она могла поддерживать разговор совершенно автоматически, не прислушиваясь к тому, что говорил муж, думая о своем, — и, к ее собственному удивлению, она почти никогда не отвечала невпопад.

Но Елена Ивановна страдала. Была она уже не молода, очень одинока, и к Сидельниковым ходила только потому, что каждый человек должен иметь место, куда можно ему пойти, посидеть с людьми и отвести душу. Собственно, отвести душу никогда не удавалось. Сидельников пил, говорил прибаутками, плел что-то очень нудное и всем давно известное, а жена его думала о чем-то своем и вообще всяких откровенностей и излияний чувств избегала: была убеждена, что все закончится просьбой дать денег взаймы. Так и проходили эти вечера, — Елена Ива-

новна больше молчала, хотя ей иногда хотелось рассказать этим самодовольным, тупым людям, что она не всегда была стареющей, одинокой женщиной с морщинками под глазами, что ее когда-то звали Леночкой, — на ней было коричневое форменное платье с белым батистовым передником, а рассыпавшиеся, непокорные кудряшки сводили с ума гимназистов.

С этих далеких времен у Елены Ивановны сохранилась тоненькая пачка писем, перевязанных, как водится, розовой ленточкой и лежавших на дне заветной шкатулки. Елена Ивановна в жизни потеряла многое, немало постранствовала по свету, но шкатулку все-таки сохранила и благополучно провезла через все испытания. Была она женщиной сентиментальной и даже, можно сказать, романтической. С годами романтизм ее стал принимать даже несколько экзальтированные формы, а в шкатулке постоянно прибавлялись новые сувениры. Был здесь старый веер из слоновой кости с кружевами, который покойная мать подарила Леночке по случаю выпускного бала; были фотографии людей, давно всеми забытых, кроме Елены Ивановны. В пожелтевшей от времени бумажке лежали засушенные фиалки. А на самом дне шкатулки хранились письма, — неопровержимое свидетельство несложной любовной жизни Елены Ивановны.

Письма эти она знала наизусть, но время от времени, по вечерам, перечитывала и при этом волно-

валась, — на лице тогда выступали красные пятна, делавшие ее вдруг старой и некрасивой. Перечитав письма, она бережно укладывала их в шкатулку и потом, лежа в своей узкой и одинокой постели, долго думала о людях, которые ее когда-то любили. Вероятно, никого из них уже не осталось в живых; были такие события, прошло так много лет... Но, может быть, кто-нибудь выжил? Ведь и она сама жива. И дальше Елена Ивановна начинала думать о том, как она вдруг встретит его на улице. Конечно, они сразу узнают друг друга, ведь люди по существу меняются очень мало. Вернется старая дружба, любовь, и жизнь снова получит новый смысл и значение... И, помечтав немного и поплакав в подушку, Елена Ивановна тушила свет, стараясь уснуть: утром нужно встать пораньше и идти на работу.

* *
*

Как случилось, что в этот вечер она принесла к Сидельниковым одно из своих заветных писем? Может быть, одолела тоска, или появилась потребность поделиться с друзьями чем-то важным и нужным. А быть может, ей просто захотелось показать Сидельниковым, смотревшим на нее со снисходительной жалостью, что она — вовсе не засохшая старая дева, что ее любили, ей писали любовные письма и под-

носили цветы... Вот почему Елена Ивановна в этот вечер пришла такая взволнованная. И когда обед стал подходить к концу, она вдруг покраснела и небрежным тоном сказала:

— А со мной произошла такая смешная история... Вчера я перебирала в чемодане старые бумаги и нашла одно письмо. Написал его мне когда-то влюбленный гимназист.

— Здорово! — загрохотал Сидельников, расправляясь с котлетой. А сколько, матушка, вам тогда было лет?

— Семнадцать, — с холодным достоинством ответила Елена Ивановна. — Я тогда кончала гимназию и готовилась к выпускным экзаменам.

— Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... А не выпить ли нам, господа, за этого самого влюбленного гимназиста? Юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться...

— Успокойся, — сказала Маша. — Тебе больше нельзя. А то ты скоро начнешь декламировать «У лукоморья дуб зеленый»... Вот лучше пусть Елена Ивановна прочтет нам свое письмо.

Елена Ивановна смутилась. Собственно, письмо было принесено специально для того, чтобы быть прочитанным, момента этого она ждала и боялась, и теперь, когда он наступил, она вдруг растерялась. Вряд ли это будет интересно, — письмо влюбленного мальчика, но такое искреннее и свежее... Впрочем, если хотят послушать, — она готова.

— Валяйте, Саломея! — сказал Сидельников.

Елена Ивановна вынула из сумки листок бумаги, вырванный из ученической тетради, и начала читать, замирая от ужаса и счастья:

«Любимая моя, единственная моя, синеглазая моя Леночна...»

— Да что вы, милая, — перебила Маша Сидельникова. — Какие же у вас синие глаза? Скорее уж серые.

— Тогда были синие, — кротко ответила Елена Ивановна.

— Отцвели уж давно хризантемы в саду, — пропел Сидельников.

Елена Ивановна проглотила обиду и немного дрожащим голосом продолжала читать:

«...Сейчас два часа утра. Я пишу, весь охваченный чудесной лихорадкой и томительной истомой. Окно мое настеж открыто, в комнату льется сладкий, дурманящий запах летней ночи. Свеча горит на моем столе, пламя ее колеблется, по стенам пляшут неровные, фантастические тени».

— При свече писал, — вздохул Сидельников. — Должно быть, дело было еще до изобретения электричества.

«...Прошло уже два часа, как я расстался с Вами, любимая. Целая вечность, целая жизнь. Два часа назад мы сидели в саду, над речным обрывом, я целовал ваши тонкие, умные пальцы и глядел в ваши прекрасные, бездонные глаза...»

— Бочки бывают бездонные, — бормотал Сидельников. — Стиль неважнецкий у молодого человека, но пишет бойко. Должно быть, насобачился, или у кого-нибудь списал. Я сам у Пушкина стихи скатывал и переписывал в альбом барышням... Маша, а Маша, — нельзя ли мне еще немного компоту получить?

— Хватит с тебя, — сказала Маша. — Не хами, дай слушать.

«...Я помню только, как наступила удивительная, особенная тишина, — кажется, даже соловьи перестали петь, и лишь было слышно, как бились наши сердца. Вам стало холодно, я обнял Ваши хрупкие плечи, Вы склонили голову ко мне на грудь и на мгновенье, на одно только мгновенье, уста наши слились...»

— Это он у Загоскина украл, — с ядовитой уверенностью сказал Сидельников. — Эта история напоминает мне один анекдот. Однажды барышня пошла с семинаристом в сад...

— Замолчите, — очень тихо и твердо сказала Елена Ивановна. — Замолчите сию же минуту. Я пришла к вам, к моим лучшим друзьям, принесла вам самое нужное, самое ценное, что оставалось у меня в жизни. А вы...

Она не кончила, встала из-за стола, сунула письмо в сумочку и направилась к дверям. Сидельникова пыталась ее удержать — нужно знать мужа, ведь он такой, и всегда шутит, и потом — кто мог предпо-

лагать, что Елена Ивановна так близко примет к сердцу старый роман юности?

Но Елена Ивановна все же ушла, тихонько закрыв за собой дверь. Она не слышала, что говорила ей вслед Сидельникова, — теперь ей все было безразлично и появилось такое чувство, словно она испортила что-то очень важное и большое в своей жизни. Она спускалась по темноватой лестнице, и вдруг все показалось ей мрачным и убогим: и потертый коврик на ступеньках, и стены запятнанные, чьими-то нечистыми руками, и ящики с мусором, выставленные у дверей квартир.

На улице моросил дождь. Тусклые фонари отражались в мокром асфальте, и какие-то прохожие под раскрытыми зонтиками торопились домой, не обращая на нее внимания. И Елена Ивановна вдруг до боли отчетливо вспомнила летнюю ночь на Каме, городской сад над обрывом, синеглазую Леночку и этот первый, на всю жизнь запомнившийся поцелуй. Ведь все это было, этого нельзя отнять у нее! Потом она вспомнила смеющегося Сидельникова и заплакала от обиды и горечи. Она шла, спотыкаясь, как пьяная, оплакивая свою оскорбленную любовь, и машинально твердила:

— Дура... Старая дура!

Вернулась она домой вся продрогшая, бережно спрятала письмо в заветную шкатулку и легла спать. И ночью, во сне, продолжала всхлипывать от обиды.

НЕКРОЛОГ ЖУРНАЛИСТА

В это утро боль в правом боку была особенно мучительная, — глухая, ноющая, непрестанно напоминавшая, что в сложном человеческом механизме какая-то его часть внезапно испортилась. Александр Иванович Чеботарев с отвращением принял еще одну пилюлю, но боль и после этого не исчезла. Лекарство уже не оказывало того успокаивающего действия, какое было в начале болезни. Хотелось прилечь, положить на бок горячую грелку, но в редакции не было ни дивана, ни грелки. Оставалось только одно: попытаться отвлечь свое внимание работой.

Раньше это иногда удавалось, но сегодня и работа как-то не налаживалась. Александр Иванович отослал срочный материал в типографию, кое-что подправил, кое-что сократил. Было несколько телефонных звонков и пришла посетительница, — немолодая уже артистка с обиженным лицом и сизыми, припудренными щеками. Артистка жеманилась и говорила, что скоро устроит свой вечер, а пока хотела бы поместить заметку. Журналист знал, что никакого вечера не будет, артистка готовилась к этому

выступлению последние десять лет и все не решалась, и когда при встрече знакомые спрашивали, когда же ее услышат, она загадочно мерцала глазами и отвечала, что очень скоро, хотя, конечно, настоящее искусство теперь никому не нужно... Александр Иванович заметку, все-таки, взял и, сделав над собой некоторое усилие, пожелал успеха и даже сказал, что постарается прийти и послушать. В эту минуту он искренне и от всей души ненавидел представительницу подлинного искусства.

Потом у стола его появился другой посетитель, старичок с суздальским иконописным лицом, оказавшийся ревнителем церковного пения, а ревнителя сменил человек в черном вытертом пальто со слишком короткими рукавами, из которых высовывались обшлага пиджака. Человек был с толстым, порыжевшим портфелем, раздутым от всяких набитых в него бумаг. Назвал он себя профессором и сказал, что третьего дня прибыл из Европы, счел своим долгом прийти представиться в редакцию газеты, которую всегда читал и весьма одобрял.

— Почему все они «прибывают», а не просто, как люди, приезжают? — с раздражением подумал журналист. — Еще один профессор. Покойный Милюков говорил, что в эмиграции только он один и остался приват-доцентом: все остальные незаметно превратились в профессоров. В портфеле, конечно, лежат мемуары, — так, примерно, фельетонов на сто. Хорошо еще, если пишет по-русски грамотно,

а то ведь профессора из новых и этим похвастать не могут.

— Я вам принес рукопись, — мягко и слегка волнуясь, говорил посетитель. — Знаете, кое-что вспомнилось... Так сказать, на экране моей памяти. Может быть, вам подойдет, и вы сможете использовать, хотя бы отдельные главы?

После его ухода Чеботареву стало совсем скучно и он даже пожалел, что профессор откланялся так быстро. Боль постепенно усиливалась, становилась невыносимой, и Александр Иванович вдруг понял, что болен он тяжело и безнадежно, и что очень скоро и редакция, и совместная жизнь с женой, и все то, что составляет его нынешние интересы, все это для него кончится.

Сотрудники в редакции часто говорили между собой о смерти в том шутливо-пренебрежительном тоне, который доказывал, что умирать никто из них не собирался. Любили поговорить и о своих некрологах, — кто их будет писать, и кто скажет «прочувствованное слово» у гроба дорогого коллеги. Александр Иванович вдруг с удивлением поймал себя на том, что вопрос о некрологе и для него имеет некоторое значение. Главным образом, не хотелось, чтобы написал его один из редакционных пошляков. И, конечно, писать будут наскоро, самое главное не упомянут, а в конце обязательно скажут, что умер он как солдат на своем посту, или был последним из могикан.

Александр Иванович поморщился, словно ему пришлось проглотить противное лекарство, машинально взял чистый лист бумаги и написал сверху заголовок: «Скончался А. И. Чеботарев». Почти бессознательно он продолжал: «Вчера на своей квартире, после продолжительной болезни, скончался наш долголетний сотрудник Александр Иванович Чеботарев...»

Написав эту первую фразу он остановился и даже слегка улыбнулся: писать свой собственный некролог было легко и интересно. В жизни он составил множество некрологов, и так как писались они всегда в последнюю минуту, небрежно, приходилось прибегать к обычным в таких случаях шаблонным и готовым фразам: «Ничто не предвещало столь близкого конца... В лице его русская эмиграция теряет выдающегося журналиста...» Александр Иванович вдруг испытал чувство большой неловкости — русская эмиграция решительно ничего в его лице потерять не могла. В журналистическом деле, как и во всяком другом, незаменимых людей не было. Почему-то вспомнил он смерть Акакия Акакиевича... «на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее». Вот и вся разница. Другой человек будет писать все то, что писал он, попрежнему будет изо дня в день выходить газета и все останется по старому, — только не будет больше его, Чеботарева.

Нет, написать следовало как-то совсем иначе. Очень спокойно, сухо, никакой лирики. И Александр Иванович начал писать медленно, с трудом подыскивая простые, нужные слова. Временами он останавливался и прислушивался к тому, что происходило внутри. Ему показалось, что боль начала стихать.

Некролог получался скупой на слова и очень точный. Он указал дату рождения, годы окончания университета и начала литературной работы. Перечислил названия газет, в которых сотрудничал, — о некоторых из них теперь он вспоминал с недоброжелательством или с чувством неловкости. Перечислил и названия написанных им книг и со злорадством подумал, что дорогие коллеги по редакции, вероятно, названия книг не вспомнили бы, — ради одного этого стоило самому позаботиться о некрологе.

Потом Чеботарев задумался. Журналистика, которой он занимался всю жизнь, была, конечно, профессией, способом существования, но это было и нечто большее: газетчики иронически называли это «служением человечеству».

— Очень большое слово—человечество, особенно в применении к газетам и к нашему брату, думал он. Однако, кое-что сделано. Мы — люди малых дел, а мир покоится именно на таких малых делах. Но что остается от всего этого?

В памяти Чеботарева начали возникать отдельные эпизоды его работы, — все интервью, которые

он когда-то считал сенсационными, и о которых читатели забывали на следующий день после их опубликования, множество написанных им статей, давно превратившихся в архивную труху, и его книги, также теперь никому не нужные. Все это было не так важно. Вид собственных статей в газете давно уже перестал волновать Чеботарева, а книги становились чужими и ненужными в тот самый день, когда выходили в свет, — они больше ему не принадлежали.

— Может быть, главное в моей жизни заключалось не в писании, а в том, о чем и о ком я писал?

И Чеботарев начал вспоминать людей, о которых он писал. Приятнее всех были покойники: они никогда не возражали против содержания некрологов и не критиковали высокой оценки их полезной деятельности и часто выдуманных общественных заслуг. Юбиляры были также чем-то вроде покойников, с той только разницей, что им удавалось прочесть свои некрологи при жизни. Юбиляры за статьи обычно благодарили в шутливо-дружеском тоне и делали вид, что все чествование было для них приятной неожиданностью. Иногда, впрочем, в письмах их проскальзывала некоторая обида, — очевидно, кое-что в оценке необычайных заслуг было забыто.

Хуже всего было писать рецензии. Актрисы все обычно играли, как Комиссаржевская или Савина, певцы тембром голоса удивительно напоминали

Шаляпина в молодости, а балерины были духовными наследницами Павловой. И это был тот хвалебный, твердо установленный минимум, который мог удовлетворить «служителей Искусства». Малейшая критика рассматривалась, как скрытое недоброжелательство — критик сразу становился в глазах артиста некомпетентным невеждой, о котором можно было говорить с нескрываемым презрением.

Чеботарев считался в редакции специалистом по благотворительным делам. Деньги, которые получались в ответ на его статьи, всегда шли на нужные, добрые дела, но с годами Чеботарев убедился в том, что в основе всех сборов лежит элемент случайный и даже в какой-то степени аморальный. Нуждающихся было много, но помогали почему-то тем, кто проявляли наибольшую настойчивость, умели о себе напомнить, во время написать жалостливое письмо, и это не всегда были самые нуждающиеся и и самые почтенные люди. Александр Иванович знал, что идеальной системы благотворительности не существует, но почему-то в эту минуту ему вспомнился один случай. Из далекого беженского лагеря пришло письмо от группы инвалидов, у которых на семь человек было всего восемь ног. Письмо было жалостливое, до красочности неграмотное, его поместили, и люди начали посылать деньги. А потом, много позже, выяснилось, что безногие эти оказались ребятами ловкими и предприимчивыми, полученные посылки они сбывали другим лагерным си-

дельцам, устроили нечто вроде лавочки, а вырученные деньги пропивали.

— Нет, такие вещи неизбежны и из-за этого нельзя, конечно, перестать помогать.

Чеботарев знал и других людей, которым помогли вернуть здоровье, которых спасли от голодной жизни и от постыдной, унижающей нищеты. Это была одна из редких областей, где газетная работа приносила ему настоящее удовлетворение. А другие случаи? Много статей было написано в защиту невинно пострадавших. Все они были бесправные, затравленные люди, зря сидели по тюрьмам и некоторых из них удалось освободить. Ожидая освобождения или помощи, они плакали, умоляли, говорили, что никогда в жизни не забудут, что для них сделали, но выйдя из тюрьмы забывали очень быстро, а один из таких освобожденных, в конце концов, оказался предателем и темным человеком и при первом же удобном случае отплатил Чеботареву гадостью. Но это было почти нормально. Больные, спасенные хирургом, вряд ли вспоминают с благодарностью операцию, которая сохранила им жизнь, и каждый адвокат знает, что преступник, которого он избавил от виселицы, не заплатит гонорара за его выступление в суде.

— Вероятнее всего, и хирурги, и адвокаты, и журналисты, делают свое дело из какой-то профессиональной амбиции или, в лучшем случае, во имя собственного морального удовлетворения. И, ко-

нечно, не потому, что они отличаются какой-то особенной совестливостью или добротой, а потому, что человек, все-таки, должен помогать, когда это возможно, меньше всего рассчитывая на благодарность. Из всех понятий о человеческих чувствах благодарность, вероятно, самое ложное и фальшивое.

Ход мыслей Чеботарева прервал подошедший к столу пожилой человек, один из тех, кого в редакции называли «старыми колонистами». Был он коренастый, крепко слаженный, неторопливый в движениях и в речи, уверенный в себе и в своих правах. В Америку колонист приехал давно, совсем молодым белоруссом, к американцам так и не пристал, но родной язык успел забыть довольно основательно.

Колонист тяжело вздохнул и протянул номер газеты, в котором несколько строк были тщательно обведены чернильным карандашом.

— Вы тут адвертайзмент пустили. Ивана Шило разыскивает его племянник Гаврила Громыко из села Дальние Камыши... Так тот Шило буду я!

— Садитесь, мы сейчас разыщем письмо вашего племянника.

Шило присел, и пока Чеботарев искал в папках нужное письмо, успел рассказать журналисту, что племянничек будет не его, а жены, и как она прочла утром в газете эту статейку, то есть адвертайзмент, так закричала и за сердце схватилась, — совсем, было, закалапсилась.

— А я ей говору: «Стало быть, твои родные не

все вымерли. Донт вори, говору, мы теперь их зараз найдем!»

— Вот письмо. Читайте.

Иван Шило взял в руки открытку, пришедшую из какого-то лагеря в Германии. Письмо было написано корявым почерком — Гаврила просил оказать милость и разыскать дядю и тетку, уехавших в Америку из села Дальние Камыши еще в десятом году. О семье и о судьбе своей ничего он не сообщал. Повертев письмо в руках, дядя Шило решительно сказал:

— Бог милости послал. Теперь пойду до лойера, пусть скажет, как выписать его до нас... Сколько, значит, вам за труды полагается?

Александр Иванович сказал, что за труды ничего не полагается, но колонист не поверил, — может, возьмет хоть «пару доляров» на сигару? Узнав, что сигар Чеботарев не курит, он протянул громадную, мозолистую лапу, много поработавшую на своем веку, обменялся крепким рукопожатием и ушел, сказав на прощание:

— Благодару вас!

Чеботарев посмотрел ему в спину и подумал, что этот минский мужик, болотный человек, ставший американцем, наверно порядочнее многих других людей, которых он знал, и которые считали, что деньги заменяют им ум, образование и хорошие манеры. «Этот, по крайней мере, искренне благодарен. Впрочем, за розыски близких все благодарны...»

Чеботарев вспомнил, как рыдала однажды в редакции мать, разыскавшая через газету своего сына, — она потеряла мальчика много лет назад во время войны. Его посадили в грузовой автомобиль с другими такими же несчастными, куда-то увезли, и это был конец,—неизвестность, долгие годы отчаяния и слез. Ее мальчик исчез, растворился среди миллионов бездомных людей, которых разогнала слепая судьба во все концы мира. Ей оставалось теперь только плакать, молиться и ждать. И она дождалась. Одна строчка в газете, и мать нашла сына, которого считала погибшим, и сын нашел мать.

Малые дела. Вдруг его охватила злоба. Всю жизнь он работал в газетах, которые читатель почему-то недолюбливал, над которыми считалось хорошим тоном подтрунивать, — такой устарелый и скучный материал, нечего читать, и так много опечаток! И люди, сами неспособные грамотно написать две фразы, смеялись над профессиональными журналистами, у которых так мало времени, чтобы работать, и у которых каждый человек, приходящий в редакцию, всегда может отнять еще частицу этого считанного по минутам времени своими личными делами и просьбами.

Должно быть, от этой внезапной злобы и огорчения боль в боку сразу усилилась и стала невыносимой.

Александр Иванович, теперь уже по привычке торопясь, дописывал свой собственный некролог.

Он думал, что все это в конечном счете не так мрачно, — должно быть, виновата эта тупая боль. Были хорошие люди, интересные встречи, и если бы пришлось начать жизнь сначала, он все равно стал бы журналистом.

Последние фразы пошли ровные и спокойные. Некролог был такой, каким хотел его видеть Чеботарев: простым перечислением фактов и дат, без жалких, преувеличенных слов и надгробного рыдания.

Пять месяцев спустя некролог этот напечатали в газете, снабдив соответствующим предисловием о том, как покойный А. И. Чеботарев до конца был на славном посту газетчика и даже оставил редактору в запечатанном конверте свою биографию, составленную во время безнадежной болезни. Все было, как полагается в таких случаях: некролог, и клише, и порядочно траурных объявлений.

А на следующий день за столом Александра Ивановича уже сидел другой журналист, который выстукивал на машинке хронику, юбилейные статьи и прочувствованные некрологи.

КРЫМСКИЕ РАССКАЗЫ

МАЛЬЧИК ЯША

ЯША идет по улице, щурится от сумасшедшего весеннего солнца и осторожно обходит свежие лужи. В другое время было бы приятно пошлепать по грязи и лужам босыми ногами или пустить бумажные кораблики. Но сегодня — нельзя. Сегодня суббота, баловаться грех, и на Яше новенький матросский костюм с синим воротником, обшитым белой тесемкой, с двумя якорями по углам. Но самое важное, — это длинные брюки со складкой, совсем, как у взрослых. Костюмчик шил портной для штатских и военных, Кравец, — странный человек, почему то всегда сидевший на гладильном столе, ловко поджав под себя ноги.

Старик Кравец любил шить мальчикам на рост, так что из рукавов торчали наружу только кончики пальцев.

— Парижский фасон, бормотал Кравец. Последний крик столичной моды... Одного прикладу пошло на три рубля.

Кравец шил костюм долго, месяца два, — торопиться было некуда. Приходя на примерку, он сначала долго пил чай и жаловался на то, что приклад опять вздорожал, потом разворачивал кусок грубого коленкора, в который был завернут «костюмчик» и начинал творить: с остервенением вырывал какие-то наметанные белые нитки, с треском отпарывал воротник, вытаскивал изо рта булавки (а что, если он их случайно проглотит?) и, как Микеланджело, любующийся своей работой, отступал на два шага, жмурился от восторга и говорил:

— Жених. Ей Богу, совсем жених. Мадам, взгляните на эту работу и на этого мальчика. Не костюм, а взвейтесь соколы орлами! Чтобы ты мне был здоров!

Так вот, костюм этот был, наконец, готов. По случаю праздника Яше позволили его надеть.

— Погуляй по улице, сказали Яше. Не запачкайся, шмаровоз, и не вздумай играть в ашики с твоими босявками. Ты пойдешь с папой в синагогу.

И вот Яша гуляет по улице, стараясь не запачкаться и тщательно обходит свежие лужи. Вчера в городе было наводнение или, как говорят Яшины товарищи, потоп: все утро хлестал ливень, а потом дождевая вода хлынула с гор, затопила нижнюю часть города и на несколько часов превратила улицы в бурные потоки. Это было очень интересно. На Итальянской какой-то смельчак поплыл в плоско-

донке, людей развозили по домам дрогали, накрывшие головы мокрыми мешками, и даже лошадям вода подходила под самое брюхо.

Потом вдруг в клочьях разодранных облаков появилось солнце, засияла радуга, а еще через час вода стала уходить, оставив на мостовой и тротуарах толстый слой серой глины, пивные бутылки, пробки, солому и всякий мусор. В другое время Яша приступил бы к собиранию пробок, которые всегда могут пригодиться в хозяйстве мальчика, но сегодня — нельзя, мешает новенький матросский костюмчик. И, как на зло, никто не попадается навстречу, чтобы полюбоваться Яшиным великолепием.

Наконец, из-за угла выходит старуха Фейга, которая обходит еврейские дома и собирает копейки. Фейга останавливается, всматривается в мальчика своими слезящимися, воспаленными глазами и всплескивает руками:

— Доброй субботы, Яшенька, говорит она и мелко трясет косматой головой. Ой, какой ты у меня сегодня нарядный! То́лстым ты уже не будешь, так чтоб ты мне хоть был здоров!

«Что это они все заботятся о моем здоровье?», думает мальчик. И Кравец, и Фейга. А наша кухарка Христина говорит, что если я буду покупать на улице мороженное, сделанное из молока, в котором купали больных, то я наверно заболею...»

В это время на горизонте показался Андрюша

Богатько с Карантиной слободки, чемпион игры в ашики и ужасный задирала. Чемпион шел налегке, босиком, с наслаждением выбирая места, где грязь была поглубже. Богатько сразу оценил новенький матросский костюмчик и с размаху влетел в лужу, чтобы забрызгать зазнавшегося франта. Брызги разлетелись во все стороны, но не попали в цель. Тогда Андрюшка скорчил рожу и скороговоркой сказал:

Яшка барашка
Красная рубашка,
Синие штаны —
Хуже сатаны!

В другое время этот оскорбительный личный выпад послужил бы сигналом к бою, но на этот раз Яша был настроен миролюбиво, да и драка означала бы испорченный костюм. Чтобы не прослыть трусом, Яша все же подошел вплотную к противнику, слегка толкнул его в грудь ладонью и сказал:

— А ну, тронь!

— А ну, тронь! ответил Андрюша, и тоже слегка толкнул Яшу ладонью в грудь.

— А ну, не пихайся.

— Сдрейфил?

— Сам ты сдрейфил.

Так мальчики стояли и толкали друг друга до тех пор, пока Богатько вдруг не сменил гнев на милость.

— Пошли купаться, Яшка? Вода после потопа — ужас какая теплая. В купальнях Пиличева на доске написано девятнадцать градусов.

Яша с холодным достоинством отклонил предложение.

— А раньше?! Я занят. Иду в синагогу.

Слегка поколебался и, сбавив голос, немного извиняющимся тоном, добавил:

— ...с папой.

Дескать, — ничего не поделаешь, приходится идти. И, не торопясь, как подобает человеку в длинных штанах, он двинулся к дому. Андрюша с независимым видом пошел в кильватере, время от времени поплевывая длинным плевком сквозь зубы и явно рассчитывая на какое-нибудь неожиданное событие.

— Яшка, сказал он небрежно, имею на обмен двадцать покрышек от «Месаксуди». Интересуюсь «Южными».

Двадцать покрышек от папиросных коробок «Месаксуди» были целым богатством, о котором Яша не мог и мечтать. Поэтому, чтобы не остаться в долгу и чем нибудь щегольнуть перед приятелем, он сообщил, что у них в доме затоплен подвал и что погиб весь запас огурцов и кислой капусты в бочках.

— Нет? Побожись?

— Чтоб я так жил.

Больше не было сказано ни слова, но у мальчиков теперь появилась цель в жизни. Подвал — огромный, загадочный мир, в котором сложено

столько сокровищ, — какие то кадки, сундуки с тряпьем, сломанные стулья, пустые бутылки, — затопленный подвал нужно было обследовать. Во двор они проскользнули незаметно, так, чтобы вредная Христина их не заметила и не помешала бы игре. На пути разогнали компанию взволнованных, галдящих индюков, щелкнули по уху черного котенка, который умчался за помойку и, осторожно прокравшись вдоль стены, остановились перед входом в подвал.

Вниз, в таинственную подвальную глубину, вели десять крутых каменных ступенек. За ними открывался совершенно новый, привлекательный мир, — громадная лагуна зеленовато-грязной воды. Сквозь узкие окна на уровне земли струилось солнце и там, куда падали солнечные лучи, вода казалась изумрудной и на ней играли зайчики. А между тем, она совсем уж не была такой изумрудной, — на поверхности плавали поленья, древесный уголь, какие то щепки, бутылки, всякая хозяйская дрянь. И над всем этим поднимались сложные запахи сырости, тины, сгнивших огурцов и капусты.

— Завтра татаре придут воду вычерпывать, почему то шопотом сказал Яша. Подрядились за три рубля.

— Жалко, ответил Андрюша. Тут, знаешь, покататься можно в лоханке. Настоящее озеро.

Лоханки, в которых стирали белье, плавали тут же, посреди подвала, тихонько стукаясь одна о дру-

гую. Чтобы подвести к лестнице самую большую лоханку, мальчики быстро сделали морскую колотушку, привязали к веревке кусок дерева. Андрюша командовал:

— Запускай колотушку! Не так! Тащи взад!... Еще раз. Есть, капитан!

Лоханка, зацепленная колотушкой, дрогнула и на канате плавно пошла к лестнице.

— Я Робинзон, а ты — Пятница, сказал Андрюша, охваченный священным огнем авантюры. Сейчас мы отправимся с тобой на пироге объезжать берега нашего острова.

— Я хотел бы быть Робинзоном, нерешительно высказался Яша. А ты будешь Пятница.

— Медведь будет Пятницей! Я придумал, — я Робинзон.

— А раньше?! Поезжай один. На легком катере.

— Один раз, взмолился мальчик. В первом плаваньи Робинзон — я, во втором — ты. И ты получишь пять «Месаксуди».

Соглашение затягивалось. Тогда Андрюша начал тыкать пальцем в товарища и в себя и скороговоркой считать:

— Эна бена рест, гунтер гунтер жест, эна бена раба, гунтер гунтер жаба!

Яша вышел жабой. Счет был вещью священной, приходилось подчиниться.

Сначала в лоханку сел Робинзон. Корма сразу

погрузилась в воду, а нос угрожающе поднялся к верху.

— Пятница, кричал Робинзон, распродери твою качалку, садись скорей, а то из-за какого-то паршивца пирогу перевернет прибой!

Последние проблески разума еще удерживали Яшу от этого плавания. Чтобы выиграть время он спросил:

— А что мы будем делать на лагуне?

— Я же сказал. Нужно объехать берега острова Доброй Надежды и попытаться спасти боченки с подмоченным порохом и солониной, выброшенные прибоем.

— С солониной я не согласен, сказал Яша. Тут все кошерное. Ты с ума сошел.

— Хорошо. Нужно спасти бочку с пемиканом.

Пемикан, несомненно, был кошерным. Пятница в последний раз взглянул на свой матросский воротник с белой тесьмой, на вышитые якоря и нерешительно шагнул в лоханку, которая качнулась и погрузилась почти до самых краев. В руках мальчиков очутились две доски, заменявшие весла. Лоханка дрогнула и, виляя из стороны в сторону, пошла вперед.

— Курс норд-норд-вест, командовал Робинзон. Так держать! Пятница, ветер крепчает. Подними паруса на мачте.

Пятница сидел, боясь шевельнуться. Из под весла капитана летели фонтаны брызг.

— Не табань, взмолился мальчик. Ты мине весь костюм забрызгаешь.

— Налягай на весла, командовал Робинзон, уже всецело во власти морской стихии. Ать, два, вместе!

Теперь лоханка была уже посреди подвала и, увеличивая ход, быстро приближалась к противоположной стене, у которой были сложены штабеля дров.

— Завертай, кричал Яша. Завертай назад, сейчас налетим!

Было уже поздно. Лоханка коротко и сухо ударилась о дрова, зачерпнула бортом воду и с тихим плеском погрузилась на дно.

Робинзон и Пятница стояли в воде по самую грудь. Потерпевшим кораблекрушение теперь приходилось спасаться вброд. Ноги глубоко уходили в вязкую глину. Платье сразу стало тяжелым и липло к телу. И вода была совсем не такой теплой, как в купальнях Пиличева.

Мальчики брели к выходу из подвала молча. Выбрались на лестницу, и только тогда посмотрели друг на друга. Новенький матросский костюм, гордость мосье Кравеца, напоминал мокрую тряпку, вымазанную глиной. В ботинках противно хлюпала вода.

И в этот самый момент сверху, со двора, раздался до жути заботливый и любящий голос:

— Яшутка, где ты? Папа ждет тебя, чтобы идти в синагогу!

Наступило молчание. Робинзон слегка сопел носом. А Яшутка представил себе папу в его белоснежной, подкрахмаленной жилетке и в субботнем сюртуке. Вот они идут по улице — папа в сюртуке и Яшутка в новеньком матросском костюмчике, и встречные евреи приветливо кланяются и говорят:

— Доброй субботы! Ой, какой у вас большой стал Яшутка. Скоро, Бог даст, он уже будет гимназистом.

А со двора доносился ласковый голос:

— Яшутка, где ты? Где ты, мальчик мой?

И вторил голос кухарки Христины:

— Да что вы, панич, сказились, что ли?

— Я здесь, сказал Пятница с мужеством самоубийцы, вылезая из подвала на свет Божий.

— Яшка, тикай! кричал Робинзон, улепетывая к воротам.

Но его верный Пятница не бежал. Он стоял посреди двора, дрожа всем телом от ужаса и стыда, — совсем маленький, беззащитный и несчастный, и повторял:

— Ей Богу, я не нарочно... Папа, я не нарочно!

И он сам не слышал звуков своего голоса.

БУЗА

В Британской Энциклопедии о бузе ничего не сказано и это, конечно, существенный пробел. Если бы мне поручили пробел этот заполнить, я бы написал, что буза это — напиток, основанный на ферментации муки, соединенной с дрожжами. Напиток распространен на Кавказе и в Крыму. Процент алкоголя, который содержит буза, зависит в значительной мере... Впрочем, это уже сухой рецепт, а в бузе важен не способ ее изготовления, а чисто вкусовые ощущения. Что может быть прекраснее ледяной бузы в раскаленный июльский день, когда каблуки глубоко уходят в асфальт, и когда от зноя и лени трудно раскрыть глаза?

В детстве в дом наш приезжал знакомый коммивояжер из Лодзи, человек любезный, знавший хорошее обхождение. По крымскому обычаю его угощали бузой. С запотевшей бутылки осторожно снимали тонкую проволочку, освобожденная пробка с треском взлетала под потолок, а густая, пенящаяся буза лилась в граненные стаканы.

Коммивояжер брал стакан с таким видом, словно ему налили шампанское, осторожно отпивал глоток, зажмуривал глаза в экстазе и шептал:

— Ах, крымские вина!

Конечно, он был из Лодзи, и ему разрешалось принимать бузу за Абрау-Дюрсо. Но в нашем маленьком приморском городке все были искренне убеждены, что буза стоит гораздо выше самых лучших вин в мире, и что без этого нектара жизнь была бы не полной и лишенной всякой поэзии.

Для людей без воображения в скверике Айвазовского продавали зельтерскую воду с сиропом, который барышня нацеживала из четырех узких стеклянных колб. Сироп был разных цветов и сортов, вишневый, лимонный, абрикосовый или гренадин. Его размешивали в стакане длинной ложечкой, зельтерская вода била в нос и, по правде говоря, это было очень вкусно. Но никакой конкуренции с бузой двухкопеечная зельтерская с сиропом выдержать все же не могла.

Выпив бутылочку мы отправлялись на бульвар, где играл военный оркестр и сладко пахла цветущая акация. Мы шли развинченной походкой старых морских волков, лихо раскланивались со знакомыми гимназистками и небрежно говорили встречным приятелям:

— Мы уже набузились.

Все это было ужасно давно, и вспомнил я о бузе только потому, что один мой земляк и приятель решил построить на ней свое американское благосостояние. По приезде в Америку он долго пытался найти работу и все терпел неудачу. Его гоняли с

места на место, он всюду приходил слишком поздно или получал туманные и ни к чему не обязывающие обещания, что его вызовут, когда появится работа. И однажды, в жаркий нью-иоркский день, измученный и обескураженный, он зашел в аптеку, присел у стойки и заказал стакан сладкой коричневой бурды, слегка попахивающей лекарством. От напитка этого ему стало совсем грустно на душе и захотелось поскулить, — он вдруг вспомнил, какую бузу пил он в родном городе. Особенно хороша была буза у грузина на Приморском бульваре, под генуэзской башней. Подав бутылку на стол грузин цокал языком и приговаривал:

— Пей, кацо! Антик мурет с мармеладом.

Что это значило, никто в точности не знал, но слово мармелад несколько успокаивало.

И вдруг, как ослепительная молния, в голове моего приятеля блеснула мысль:

— Америка нуждается в бузе! И этот антик мурет с мармеладом фабриковать буду я...

Он блаженно закрыл глаза. Стены аптеки раздвинулись, растворились в розовом тумане, и он вдруг отчетливо увидел громадный рекламный плакат на Таймз-Сквере, сверкавший и переливавшийся всеми цветами радуги. На плакате была изображена чудесная девушка. На лице ее играла счастливая улыбка и она с вожделением поглядывала на бутылку бузы. И под этим рисунком аршинными буквами красовалась надпись:

The Original Russian Busa.

Это звучало великолепно. В Америке любят все новое. Что может быть лучше нового напитка? Напиток будет холодным, сладким, шипучим, и всего только один никель! Тут приятель занялся сложными математическими вычислениями и прикинул в уме, что если каждый американец хотя бы один раз из любопытства попробует напиток со звучным и экзотическим названием, это составит для начала сто сорок миллионов бутылок.

Будущий король американской бузы долго сидел в аптеке, мысленно подсчитывая возможные доходы и пренебрежительно поглядывал на напитки, которые заказывали несчастные клиенты, не подозревавшие о существовании настоящей бузы. Теперь все эти Кока-Кола были обречены на быструю гибель. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь, — в капиталистическом обществе сильный всегда пожирает слабого. Американцам придется перейти на бузу, обладающую удивительными питательными и целебными свойствами. Можно будет даже специально приспособить бузу к американскому вкусу, — например, добавить в нее витамины Би или Ди, способствующие росту волос на голове и укреплению костей рахитиков.

Вечером в доме моего приятеля состоялся секретный военный совет. Мамаша сразу заявила, что такая мысль могла прийти в голову только круглому идиоту. Кто в Америке будет пить эту татарскую

отраву? Почтенная дама явно недооценивала целебные свойства бузы.

Мамаша сказала еще несколько горьких слов о том, что некоторым приличным людям в жизни везет. У них дети работают, а не фантазируют, служат в конторе и раз в неделю приносят домой свое жалованье. Но если Бог хочет наказать, Он дает детей, которые становятся музыкантами или изобретателями. Что же касается бузы, то это очень просто: берут муку-крупчатку, разводят ее в кипятке, добавляют дрожжи, сахар и одну изюмину для брожения.

В эти первые годы своей жизни в Нью Иорке мой земляк снимал крошечную квартиру на Ист Сайде. Очевидно, квартирке этой было суждено сыграть историческую и революционную роль в производстве прохладительных напитков в Америке. Прецеденты были. Форд построил свою первую модель в сарае, который теперь превращен в музей; изобретатель Кока-Кола продал в первый год своей работы всего тридцать шесть галлонов жидкости. Они были типичными американцами, верили в успех и добились своего. Было очевидно, что первые лабораторные опыты по фабрикации бузы можно организовать у себя на кухне.

Основной инвентарь фирмы «Буза Инкорпорэйтэд» состоял из двух кастрюль, в которых мой приятель варил свой нектар «по старому континентальному рецепту», — фразу эту он решил обязательно

использовать позже для рекламных целей. В Америке ценят старые континентальные рецепты. Кроме кастрюль, он запасся десятком разнокалиберных бутылок, найденных на кухне и реквизированных у соседей.

Через час буза была готова и торжественно разлита по бутылкам. Перед тем, как закупорить их, фабрикант вложил в каждую бутылку по изюминке. Это было нужно для пущего брожения. Так как изюма оставалось много, он решил сырья не жалеть и сунул в каждую бутылку еще по несколько изюминок. Это только могло усилить процесс «шампанизации».

Затем забил пробки, обмотал их проволокой, чтобы не выстрелили, и поставил всю продукцию в ледник.

Спал он в эту ночь плохо, часто просыпался и бормотал:

— Завтра утром я стану миллионером... Завтра утром Буза будет готова.

Теперь слово Буза он произносил почтительно, с большой буквы.

Удивительные картины проходили в его голове. Рождались и умирали звучные лозунги, восхвалявшие качества нового напитка. Дымились фабричные трубы, выростали целые корпуса заводов, на которых производилась Буза. Караваны грузовиков выезжали со складов и развозили во все концы Америки тяжелые ящики, в которых аккуратными ря-

дами стояли бутылки с густой, мучнистой жидкостью. Измученные жаждой люди входили в бары, опирались на стойку и бросали:

— I will have a Busa!

— Small or large?

— Make it large!

Под утро он забылся. Ему приснился цокающий языком грузин с бутылкой в руках, бережно снимавший проволоку:

— Ай, разорвет бутылку, кацо, ласково говорил грузин. Ужас, какая крепкая!

И бутылка в руках грузина разорвалась с такой страшной силой, что приятель мой вскочил с постели в холодном поту. В ушах его звенело и со сна он не сразу понял, почему в соседней комнате металась с воплями его мамаша. Понял он это только через несколько секунд, когда в квартире раздался новый оглушительный взрыв, от которого зазвенели стекла в оконных рамах.

Процесс шампанизации бузы подходил к концу.

Взрывы следовали один за другим, как во время штурма Малахова кургана. Казалось, что от сотрясения на голову сейчас рухнет потолок. На пороге кухни стояла мамаша. Лицо ее было белее ночной сорочки и глаза выражали героическую решимость:

— Ты не войдешь в кухню, кричала она. Тебя убьет взрывом бузы! Через мой труп!

Неизвестно, сколько времени продолжалась бы

эта семейная сцена, если бы внезапно на улице не раздался вой сирены. К дому подкатил автомобиль, из которого на ходу выскакивали полицейские, вызванные напуганными соседями. Полицейские с грохотом бежали по лестнице, расспрашивая людей о том, что произошло? Окна во всех домах были широко раскрыты, и заспанные люди спрашивали, где случился взрыв. Ветеран, живший на третьем этаже, с видом эксперта объяснял, что взрывы произошли от ручных гранат, — он то это хорошо знает!

В общем, даже полицейские не сразу решились открыть ледник, в котором время от времени продолжали взрываться бутылки, и из которого на пол текли мутные потоки бузы... Лабораторные опыты по организации широкого производства бузы на этом были прекращены. Мамаша грозила, что иначе она в тот же день съедет с квартиры.

Я лично убежден, что компания Кока-Кола существует и процветает до сих пор исключительно благодаря твердости характера, которую проявила в этот момент почтенная дама, наложившая на дело свой запрет. Если бы изобретатель проявил настойчивость и дух американского пионера, — он был бы теперь миллионером и президентом общества «Буза Инкорпорэйтэд».

Приятель мой все же вышел в люди. Он живет очень счастливо, зарабатывает много денег и всем напиткам предпочитает простое молоко.

КАФЕДЖИ

В Нью Иорке, на Шестом Авеню, я увидел в окне магазина турецкий кофейник из красной меди, с длинной ручкой. Через минуту кофейник стал моей собственностью, — так была удовлетворена давняя и тайная мечта и воздана дань прошлому. Сейчас я начну, конечно, рассказывать о том, как готовят настоящее турецкое кофе, при чем читатель должен будет закрыть глаза и сладострастно вдохнуть его пряный, душистый аромат. Как я ни старался, но в наших американских кофейниках, напоминающих лабораторные стеклянные колбы, получается у меня не кофе, а сомнительная рыжеватая бурда, лишенная всякой поэзии и вкуса. Может быть, это просто потому, что американское кофе тоже надо уметь готовить, а я учился варить кофе не в стеклянной колбе, а в медном кофейнике, да еще на мангале с древесным углем. И учителем моим был многоопытный кафеджи Хайдар.

Хайдар смотрел на свое ремесло кафеджи — человека, готовящего кофе — как на некий апостолат и служение человечеству. Был он молодой татарин из Таранташа. Должно быть, ему надоело

вечно перекапывать отцовский виноградник с наемными «кацапами», — так в Крыму называли пришлых русских людей, — опрыскивать, подвязывать, а потом таскать на голове тяжелые корзины с янтарным, сладким чаушем. Осенью распрощался с семьей и таракташскими друзьями и объявил:

— На город пойдем.

И ушел в Феодосию. Зиму проработал в порту грузчиком, а весной вдруг надел щеголеватую смушковую шапку, подпоясался тонким ремешком с серебром и стал кафеджи на поплавке Широкого Мола.

Для крымчака чашка турецкого кофе это то же самое, что для француза — стакан белого вина, а для американца — молоко. Его пьют, сколько душе угодно, во всякое время дня и ночи, — кофе должно быть крепким, сладким, с каймаком. И сама то чашечка — крошечная, а в ней еще добрая треть кофейной гущи, плотно лежащей на дне. Пить турецкое кофе нужно умеючи; сначала каймак, потом два-три глотка крепчайшего нектара, а потом сразу остановиться: выпить до последней капли, но гущи не затронуть. После чего можно запить кофе глотком ледяной воды и предаться блаженному, созерцательному состоянию.

С поплавка Хайдара можно было увидеть много интересных вещей. По Широкому Молу прогуливались москвичи, приехавшие на виноград; для «крымского стиля» они носили мягкие, войлочные

шляпы или тропические шлемы «Здравствуй — Прощай». Проезжали на линейках дамы в белых платьях, под кружевными зонтиками. Бежал вприпрыжку идиот-газетчик Юрка и захлебывающимся от восторга голосом, кричал:

— Наши наступают под Перемышлем, слава Богу! Сорок тысяч убитых, слава Богу!

Биржевые маклера в чесучовых пиджаках чинно шли на Фонтанчик заканчивать свои сделки; босоногие мальчишки продавали приезжим цветы, а цыганки на ходу предсказывали дальний путь, неожиданную любовь и просили барина позолотить ручку. Одним словом, каждый жил и действовал так, как было ему от природы предназначено. А Хайдар действовал у своего раскаленного мангала. Оперировал он одновременно десятком кофейников, — по одному на каждую чашечку. Был Хайдар человек веселый и приветливый, немного переигрывал свою роль азиата и, по моему, из-за этого намеренно коверкал русский язык. Но у мангала он священнодействовал и не любил, когда его торопили. Если кофе требовал человек приезжий, явно незнающий порядков на поплавке, Хайдар ворочал в его сторону белками и мрачно говорил:

— Тохта, тохта, тобарджи!*) Человэк нэ кофе, нэ убэжит!

---

*) Подожди, подожди, господин.

Свои люди его никогда не тормошили, но если случалось лишний раз хлопнут в ладоши, Хайдар на минуту оставлял мангал, подходил к столику с видом детоубийцы и деловито справлялся:

— Аман сен? Ты здоров?

И преспокойно уходил назад, к своим кофейникам.

Да и куда нам было торопиться? Днем с рейда дул прохладный ветерок, море постоянно меняло свою окраску. Было оно лазоревым, и вдруг темнело, или превращалось в светло-изумрудное, а на горизонте вечно маячили паруса рыбачьих лодок. Когда под вечер тяжело нагруженные рыбой баркасы возвращались в порт, кафеджи свешивался с поплавка над водой, складывал руки рупором и кричал:

— Эй, Яни — Капитани, много кефали поймал?

Рыбаки отвечали замысловатой руганью по восходящей женской линии, и по их тону Хайдар точно знал, каков был улов, и сколько кефали, лобанов и барабули будет вечером на Привозе.

А ночью на поплавке опять собирались люди есть чебуреки и пить кофе. Теперь ветер дул в обратном направлении, с гор и из далеких садов, нес смешанные запахи акаций, цветущего олеандра и горького, степного чебреца. Под развалинами генуэзской башни уже играла музыка, в скверике Айвазовского с шипением горели угли калильных ламп, а на молу было тихо, полутемно, и парочки молча сидели на скамьях, глядя на море. Иногда, лениво

поплескивая веслами, через бухту проходила лодка. Море за кормой вдруг загоралось зеленоватым фосфорическим блеском. Потоки золота широкими кругами расходились по поверхности, — это раздраженные веслом микрообразные «ночесветки» отпугивали своим блеском воображаемого врага.

Поздно ночью над морем начинался пожар: из воды поднималась медно-красная, громадная и неестественная луна. Поднималась она медленно, постепенно менялись ее краски, и луна вдруг становилась нестерпимо яркой. От берега до самого горизонта море серебрилось, переливалось яркими лунными бликами. Нам тогда казалось, что все будет именно таким, неизменным, до скончания веков, — эта лунная ночь, и оцепеневшие парочки на Мостике Вздохов, и даже студент в белом кителе, читавший вполголоса пушкинские стихи о Крыме:

Волшебный край, очей отрада
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда
Долин приятная краса.

А ведь все это кончилось, и гораздо раньше, чем мы предполагали. В нашем мирном городке появились какие то анархисты-индивидуалисты; сынок железнодорожной будочницы Петька Новиков, с которым мы ловили голубей, стал военным комендантом города, а в Клубе Приказчиков, где раньше

устраивали маскарады и любительские спектакли, теперь бушевали непрерывные митинги. Потом образовалось экзотическое татарское правительство Сулеймана Сулькевича, а несколько дней спустя на улице я встретил Хайдара. Он преобразился. На нем была форма кавалериста, штаны с красными лампасами и кривая шашка. При виде старого друга и любителя турецкого кофе Хайдар поднес к фуражке растопыренную пятерню, — так расслабленно начали козырять с начала революции, — стал во фронт и, свирепо вращая белками, закричал:

— Кримски Конный Батальон... шашки... выдергай!

Покончив, так сказать, с парадом, он улыбнулся и стал рассказывать, какая теперь хорошая и прочная власть:

— Большевиков нэ видно, нэ слышно... Крымски армий шутить нэ любит.

Крымская армия шутить не любила. И я понял это солнечным январьским утром, когда в городе поднялась вдруг пальба и суматоха. Всезнайка Юрка пробежал по Итальянской улице, но уже без пачки газет и без «слава Богу» и закричал, что большевики подняли восстание, режут татар, и что бой сейчас идет около казарм, где забаррикадировался Конный Батальон.

Часа через два все было кончено: в городе воцарилась советская власть. Часть татар прорвалась и с боем ушла в горы, другие остались лежать на

казарменном плацу, там, где застала их смерть. Я пошел поглядеть на убитых и первое, кого увидел в подворотне казармы, был Хайдар. Он лежал широко раскинувшись, и стеклянными, немного удивленными глазами смотрел в синее далекое небо, и рот его был слегка полуоткрыт, словно он хотел кому то сказать:

— Тохта, тохта, чобарджи!

На этом кончается краткое жизнеописание бывшего кафеджи и славного кавалериста Крымского Конного Батальона.

Теперь остается только рассеять грустное впечатление и придумать для моего рассказа счастливый конец.

Рецепт приготовления кофе Хайдара я хорошо запомнил: немного воды, два куска сахара и полная, с верхом, ложечка турецкого кофе. Мешать и не давать закипеть. Как только каймак начинает подниматься, — быстро снять кофейник с огня, потом поставить на мгновенье обратно, снова снять и снова поставить на плиту. После трех раз кофе готово. Остается перелить нектар в крошечную чашечку и выпить.

С момента приобретения турецкого кофейника кончилась моя счастливая и беспечная жизнь. Начались муки творчества. Оказалось, что, кроме медного кофейника с длинной ручкой, нужно еще иметь и турецкое кофе особого помола. Турецкого кофе у меня не оказалось, но природный оптимизм под-

сказал, что можно обойтись при помощи мелко перемолотого местного кофе.

Чашка воды. Два куска сахара. Ложечка кофе... Каймак, — тот самый, настоящий. Аромат турецкого кофе, вся поэзия Востока, Тысяча и Одна Ночь.

Благоговейно поднес я чашечку ко рту и сделал первый глоток. И тут произошло нечто ужасное: рот мой оказался полон горькой кофейной гущи. Плох ли был помол, или что другое, — но гуща не садилась на дно, а упорно всплывала наверх и лезла в рот.

— Может быть, ты возьмешь ситечко и процедишь кофе? участливо предложила жена.

Она не хотела меня обидеть. Жены никогда сознательно нас не обижают. Но в жизни я не слышал более оскорбительного предложения: процедить через ситечко турецкое кофе! Я отчетливо представил себе, как содрогнулась в эту минуту тень Хайдара, разгуливающего со своим мангалом по садам Аллаха.

Кофе я вылил. А затем заботливая жена заварила свежего чаю и поскорее перевела разговор на другую тему, — женщины в таких случаях проявляют чуткость и не любят топтать побежденного и повергнутого в прах человека.

ОЛЬГА

ПЕРЕЧИТЫВАЮ жгучие стихи Максимилиана Волошина, — горький плач и стенания о тех, кто погибли в страшные годы в Крыму, в нашем маленьком городе, около мыса Ильи Пророка.

Отчего перед рассветом, к исходу ночи,
Причитает ветер за Карантином?

Да, к утру, за Карантином, на высоком и обрывистом берегу, всегда причитал ветер. Печальное и пустынное это было место. Белела стена заброшенного Чумного Кладбища, заросшего колючим кустарником и высокими травами, а на самом краю обрыва стояла часовенка Ильи Пророка, выстроенная когда-то по обету богатым греческим купцом. Во время страшной зимней бури погнало его судно прямо на скалы, где бурлила и клокотала белая пена. Вставала смерть из-за этой каменной гряды. Взмолился купец Илье Пророку, и вдруг шторм утих, улеглись волны, наступил штиль. И чудом спасшийся грек выстроил на этой скале белую часовню, чтобы далеко в море видели ее мореплаватели и молились чудотворцу.

В детстве мы приходили на эти скалы, ловить крабов, морских коньков, собирать скелеты рыб, которые выбрасывало на берег море. Вода была зеленая, совсем прозрачная, босые ноги скользили по камням, поросшим водорослями, крепко пахло иодом и рыбьей чешуей. Чудесное, неповторимое это было время. А несколько лет спустя страшное дело произошло над этим самым обрывом, и никто никогда не узнает, сколько людей в предсмертной судороге царапали руками каменистую глину и скольких расстрелянных поглотила здесь морская пучина.

Кто у часовни у Ильи Пророка
На рассвете плачет, закрывая лицо?

Как странно и жестоко: для меня этот пустырь за Карантином, около часовни Ильи Пророка, навсегда останется самым поэтическим местом в мире. И женщина, которая плакала здесь на рассвете, закрывая лицо своими тонкими пальцами, плакала от счастья и любви.

* *
*

Весна в том году пришла ранняя. Я почувствовал это в тот день, когда Ольга надела белую шляпу с фиалками и глаза ее вдруг засинели, — очень она была молода и хороша в это время. Весна всегда

начинается с дамских шляпок. А на следующий день вдруг закапало с крыш, стали падать на тротуары хрустальные ледяные сосульки, исчезли двойные рамы, а вместе с ними пропали в окнах прокладки из ваты, украшенные нарезанным цветным гарусом. Весна в Крыму приходит быстро и неожиданно. Чуть ли не через ночь все зазеленело, земля просохла, и на Фонтанчике старые маклера начали поговаривать о том, что скоро, слава Богу, можно будет надеть соломенные шляпы и сидеть за столиками на открытой террасе, за чашками кофе.

Для меня эта весна была особенная, ни на что не похожая, — я и теперь еще убежден, что звезды в эту весну были какие-то особенно крупные и мерцали они совсем иначе. Под вечер мы уходили с Ольгой за город, в сторону Карантина, где на просторе дул теплый ветер и под скалами глухо бил прибой.

Чаще всего мы встречались на Чумном Кладбище. Странное это было место для любовных свиданий, но кладбище влекло нас своей грустной запущенностью и тишиной. Здесь было всего несколько безымянных могил. Плиты давно вросли в землю, потонули в травах и колючем чертополохе, на них нельзя было разобрать изъеденные и покрытые плесенью надписи, и ничто, в сущности, не говорило здесь больше о смерти. Однажды, когда мы сидели на гнилом пне, из под плоского камня с шипеньем выполз встревоженный уж, посмотрел на нас

умными глазами и исчез, и я потом долго целовал напуганную Олю и слушал, как под тонкой батистовой блузкой неровно и сильно стучит ее сердце.

Сторожа не было, ворота всегда оставались отпертыми. От кладбища протоптанная тропинка вела к часовне Ильи Пророка и тут мы устраивались над обрывом, лежали часами, молча глядя на белую луну, поднимавшуюся над морем, игравшую расплавленным серебром на воде. Внизу, под обрывом, бурлила белая пена, изредка ударяла волна, и этот гул только усиливал чувство тишины.

Все это было до того нестерпимо красиво и неправдоподобно, что напоминало театральную декорацию для балета, и я даже не уверен, не было ли поблизости кустов жасмина и соловьев? Может быть, был и жасмин и даже пели соловьи, но теперь я не припомню, а тогда мне было не до этого, — я был очень влюблен.

Это началось еще зимой, морозной ночью, когда я провожал ее домой, — гимназическая моя серая шинель была лихо распахнута и я уверял, что совсем не холодно, хотя уши порядочно пощипывало, но разве мог я признаться в этом? Мы шли в ногу, было беспричинно весело, хотелось читать стихи и под ногами хрустел свежий снег. Иногда мы ступали на подмерзшие лужи и тонкая ледяная пластинка со звоном ломалась. Около Лютеранской церкви мы остановились и Ольга сказала:

— Здесь мы расстанемся... Я живу за углом.

Должно быть, она поняла мой умоляющий взгляд, улыбнулась и села на низкий забор кирхи, слегка запорошенный снегом. Я сел рядом. В ночном свете лицо ее, закутанное в черный платок, казалось совсем бледным, а глаза смотрели спокойно и печально. Я слегка отвел рукой платок и начал ее целовать, — сначала холодные щеки с застывшими на них снежинками, потом глаза, и губы... И с этой ночи пошло что-то странное и великолепное, — я забросил книги, стал писать стихи, сломал тулью гимназической фуражки, чтобы походить на абитуриента, и однажды старший брат, заставший меня за писанием стихов, коротко и выразительно сказал:

— Болван.

Это было ужасно обидно, но что он мог понять в моих чувствах? Отшумела весна, исчезли подснежники и фиалки, распустилась в садах персидская сирень... Товарищи готовились к выпускным экзаменам, звали по вечерам на музыку в Лазаревский скверик, но я был с ними сдержан и сух и с наступлением ночи надевал свои «выходные» брюки со штрипками, белый, выутюженный китель и исчезал, — уходил на Карантин, где нам никто не мог помешать. Встречались мы на полпути, шли в гору, — мостовая кончалась, начиналась белая пыльная дорога, и иногда навстречу попадалась скрипевшая татарская мажара, ехавшая в город, на привоз.

— Почему мажары всегда скрипят? спрашивала Ольга.

— Татары говорят: громко мажара скрипит, — честный человек едет, никого не боится.

Мы боялись встречи с людьми. В этом маленьком городке все друг друга знали, и мои загадочные прогулки с замужней женщиной, женой известного и почтенного человека, скоро стали бы всем известны. Иногда, после утомительной прогулки за Карантином, Ольга начинала просить, чтобы мы куда нибудь уехали, — в другой город, в деревню, — где нас никто не знает, где можно видеться, не скрываясь от людей.

Я был еще гимназистом и никуда уехать не мог.

Мы встречались теперь почти каждый вечер у ограды Чумного кладбища. Иногда, в душные ночи, в небе полыхали зарницы. Ольга прижималась ко мне и говорила:

— Навсегда?

Конечно — навсегда, на всю жизнь, — я не знал, что через месяц услужливые друзья расскажут все ее мужу, и он увезет Ольгу в другой, губернский город, и не даст нам даже проститься.

И еще через год кто-то мне сказал, — случайно и на ходу, что бедная Ольга Ивановна скончалась, — пошла на фронт сестрой милосердия, заразилась сыпным тифом и умерла в походном госпитале, на какой-то степной унылой станции. И, увидя, как побелело мое лицо, человек смутился и сказал:

— Разве вы не знали об этом? Простите, — ведь

вы, кажется, были близкими друзьями?...

Так давно это все было — женская фигурка на каменных, стертых ступенях часовни, синие, заплаканные и лучистые глаза.

Кто у часовни Ильи Пророка
На рассвете плачет, закрывая лицо?

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Парижские рассказы

2. Американские рассказы

3. Крымские рассказы

Printed in U.S.A. — *Rausen Bros.*, 417 Lafayette Street, **New York**